

И  
К-21  
73-383



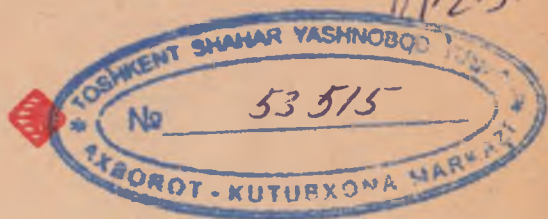
ОНЕЛНО  
КАРАОСО  
**КОРАЛЛОВЫЙ КОНЬ**



ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ



Онежно Кардосо  
**КОРАМЛОВЫЙ КОНЬ**



**РАССКАЗЫ**

*Перевод с испанского*

Государственное издательство  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Москва • 1962

*Предисловие*  
О. САВИЧА

*Переводы под редакцией*  
Р. ЛИНЦЕР

*Художник*  
В. СУРИКОВ



### КУБИНСКОЕ СЕРДЦЕ

**В** начале революции поэзия неизменно опережает прозу. Прозаик еще наблюдает, прислушивается, осмысливает, собирает и отбирает материал, а поэт уже показывает миру лицо революции как бы в моментальном снимке, порою удивительно верном и взволнованном, но неизбежно мгновенном.

Так происходит и на Кубе. Если Николас Гильен и ряд других поэтов не только воспели величайший переворот, когда-либо имевший место на их родине, да и во всей Латинской Америке, но и сумели показать в зеркале искусства отдельные черты революции (например, земельную реформу), то проза, говорящая о современности и современниках, еще только рождается.

Это, однако, не значит, будто проза стоит в стороне от современности. Она только порою не поспевает за бурными изменениями жизни. А кроме того, первая глава как научных, так и художественных произведений обычно посвящается истокам. Без понимания того, откуда, почему и как пришла революция, понять ее нельзя. И вот это объяснение, хотя еще недостаточно полное и глубокое, кубинская проза уже дала.

Книга Онелио Хорхе Кардосо — всего лишь короткие рассказы о человеческих судьбах и характерах. Только в одном из

этих рассказов идет речь о революционере, которого выдал предатель. Читатель даже не знает, за что именно боролся этот революционер, убитый до начала рассказа. Тем не менее у читателя возникает глубокое убеждение, что жить так, как живут герои Кардосо, больше нельзя и что бесстрашные поиски справедливости, в которых мучаются и порою гибнут люди,— это рождение и рост той революционной совести, которая поднимает целый народ на восстание.

Людей ведут и совесть и мечта. Но мечта не всегда видит цель и у нее хрупкие крылья. Некоторые из рассказов Кардосо посвящены людям, которых мечта незаметно для них самих уводит от жизни к созерцанию, к вымыслу, к поискам вневременной красоты. Любопытно, что простые люди относятся к мечтателям и выдумщикам с сочувствием: мечта и фантазия как бы приобщают их к творчеству и искусству.

Онелио Хорхе Кардосо недавно был в Советском Союзе. С предельной скромностью он сказал о себе: «В течение многих лет я пишу рассказы. Считают, что и у моих старых, уже давно написанных рассказов есть революционная направленность. Об этом, правда, я не думал, когда писал». Зато он знал, что пишет правду, а правда всегда революционна, потому что она одна открывает людям глаза и будит их совесть. Герои Кардосо — крестьяне, рыбаки, угольщики, рабочие. Их труд порою так невыносимо тяжел, что убивает их. Но они не жалуются, они пытаются понять, как изменить свою жизнь. Так же мужествен автор: он не плачет над судьбами людей, его цель — вызвать в читателе не жалость, а понимание и гнев. Он даже не делает выводов, это он предоставляет читателю. Он пишет очень просто, он только рассказывает — спокойно, неторопливо, хотя и кратко. Тем обнаженной его правда.

Однако, если бы в рассказах Кардосо была только эта правда, советский читатель мог бы сказать: «Эту правду я знаю давно, я читал о ней много раз, да и судьбы этих людей мне прекрасно знакомы по десяткам и сотням книг, написанных авторами дру-



гих стран». Но в рассказах Кардосо есть и то, что делает их неповторимыми: характеры людей, за которыми возникает национальный характер. Недаром название одного рассказа — «Сердце кубинца». Любимые герои Кардосо — мудрые старики, воплощение народной совести. Эти старики не выдадут разбойника, но и не позволят ему нарушить закон — не условный, несправедливый закон, а неписанный закон человеческой морали. Эти старики, потеряв на войне сына, думают о том, что сделать, чтобы не умирали чужие сыновья, даже сыновья врага: «Сражаются не солдаты, а сыновья». И не желая дать даже прикурить жандарму-доносчику, они способны и в душе жандарма, тоже человека, пробудить великое беспокойство совести.

Фидель Кастро много раз повторял: «Революция — это справедливость». Кардосо в своих скромных рассказах показывает, как для народа справедливость становилась революцией. Его рассказы — это кубинские рассказы не потому, что они написаны на Кубе и о Кубе, а потому, что они написаны о кубинском человеке, воплощающем черты своего народа. Именно вследствие национальных особенностей неповторим путь каждой революции. Этим путем Кардосо прошел вместе со своим народом, и на этом пути он сумел разглядеть, если можно так выразиться, душевные вехи.

Он уже не молод: родившись в 1914 году, он начал писать рассказы в 30-х годах. Хотя он получил среднее образование, что было уже удачей, однако, как и все кубинские писатели, во времена диктаторских режимов Мачадо и Батисты жил очень трудно. Он сам сказал о себе: «Жизнь моя проста и трагична, как жизнь каждого, кому привелось жить в капиталистическом обществе. Единственное, о чем я вправе говорить с гордостью, это то, что мой отец — ветеран войны за независимость». Кардосо жил в маленьких городках и среди крестьян. Ему приходилось искать себе профессии и менять их. В этом была и хорошая сторона: он жил жизнью народа, судьбы своих героев он не подсмотрел, а пережил. А премии, которые он неоднократно полу-

чал, помогали ему верить в себя, но не спасали от лишений. Он был и остался человеком из народа.

«Теперь передо мной встал вопрос,— сказал он в Москве,— как лучше писать, чтобы мои произведения принесли больше пользы народу. Я понимаю: надо создавать что-то новое и прежде всего нужное, полезное делу революции, моим читателям. Планов будущих произведений у меня пока нет, но это, по правде говоря, меня не беспокоит: революционная действительность подсказывает столько тем...»

Пожелаем Онелио Хорхе Кардосо, чтобы он счастливо решил вопрос, «как лучше писать», и чтобы темы революционной действительности нашли в его творчестве столь же верное воплощение, как вчерашний день Кубы — в его рассказах.

*О. Савич*





**КОРАЛЛОВЫЙ  
КОНЬ**





РАССКАЗЧИК

**Ж**ил-был — не то в Мантуе, не то в Сибанику — человек по имени Хуан Кандела, мастер рассказывать, каких мало.

Пока производство тростникового сахара не пошло на убыль, крестьяне со всех концов острова работали на плантациях бок о бок. Я хорошо помню Хуана: высокого роста, живые черные глаза глубоко засели под торчащими густыми бровями, лоб большой, плоский, волосы темные. Язык у него был, что называется, без костей, а голова битком набита былями и небылицами про реки, горы и разных людей.

Мы собирались тогда в большом бараке и усаживались вокруг фонаря. Приходили Сориано, Мигель,

Марселино и еще другие — всех не припомню. И стоило только Хуану начать рассказывать — мы так и замирали. У него в глотке, казалось, жили все птицы лесов и все звуки гитары. Мы разминали затекшие ноги, размахивали руками, отгоняя насекомых, но не спускали глаз с лица Хуана, а он на разные голоса представлял героев своих историй, помогая себе движениями всего тела. И вот после того, как целый день гнешь спину под палящими лучами солнца, а вместо денег получаешь талоны в лавку, тебе по вечерам начинают голову всеми возможными и невозможными чудесами.

Но чего-чего, а перечить Хуану Канделе никто не осмеливался: рассказав какую-нибудь небылицу, он обводил всех присутствующих таким внушительным взглядом, что возражения невольно застревали у вас в глотке, и вы пасовали перед непонятной силой, таившейся в душе этого человека. Хуан извлекал из сокровищницы своих слов одно, точное и меткое, жестом как бы распластывал его в воздухе, и оно сразу пленяло и околдовывало вас.

И такими словами он расписывал истории вроде следующей:

«Река Лахас — там, за полем для бегов, — кишмя кишит рыбой. Однажды, представьте, разлив случился раньше времени, и вода затопила Сан-Мигель и окрестности. Сначала тучи обложили все небо — над самыми холмами поползли. Откуда ни возьмись нанесло пропасть черной пыли, а холодный ветер так и гнет к земле дрок и гуайявы... И вот наконец хлынули ливни. Я тогда вел торговлю на широкую ногу, и мул у меня был крепкий и выносливый. Едва река стала снова входить в русло, а земля подсыхать, пустился я в путь по деревьям. Еду и размышляю, как быть

с переправой,— когда покачиваешься в седле, тебя невольно клонит к раздумью. Малость еще вода высоковата, но, думаю, была не была. И не в такое половодье случилось мне переправляться, а местность, слава богу, знаю — могу положиться на мула и бросить узду. Взял прямо по заболоченной низине и к вечеру добрался до реки. Гляжу, вода бурая, что твой шоколад, но из берегов вышла едва ли на полметра. Веду мула в реку, и переправа начинается. Все идет как по маслу. Копыта глухо цокают по подводным камням... Вдруг посреди реки скотина моя поскользнулась и — ни с места. Тут вспомнил я о поклаже, о нитках и пудре, которые наверняка пропадут от сырости, и недолго думая изо всех сил пришпорил мула. Тот, как всегда, не подкачал: вздрогнул, испуганно прынул ушами и уверенно пошел по грудь в воде. Но странное дело! Только я выбрался на берег, чувствую — шпоры у меня отяжелели, так книзу и тянут. Что за черт!.. Глянул — и что же вы думаете? — на каждую шпору напоролась рыбина не меньше фунта весом! Я оглянулся на реку и сказал ей: «Ну и богата же ты сегодня рыбой!»

И пальцы Хуана затрепыхались, словно рыба, играющая в воде. Затем он победоносно обвел всех взглядом, сверкавшим, точно лезвие ножа.

В другой раз он рассказывал про дикую собаку, которую взял еще щенком и очень полюбил. Этот пес, по кличке Мотылек, был поистине необыкновенным существом. Между прочим, он даже выучился охотиться на оленей. Одна только была у него беда — лапы. «Разглядеть лапы Мотылька, гнавшего оленя,— говорил Хуан,— да это все равно что увидеть ветер, свистящий в проводах!» Вот эти-то лапы и не довели пса до добра. Удрал он однажды вечером

в горы, и то с одной, то с другой стороны его лай доносится. «Верно, напал на след»,— думает Хуан, засыпая в гамаке, и видится ему загнанный олень, а по пятам за оленем мчится Мотылек, будто в лапы к нему вселился сам дьявол. Но наутро за делами и хлопотами Хуан совсем позабыл про собаку. Вдруг около полудня в зарослях тростника поднимается оглушительный шум: олень галопом летит прямо на плантацию. Надо было видеть затравленные глаза несчастного животного! Хуан в это время точил мачете и тут только вспомнил о собаке. Мешкать было некогда. Черт бы побрал этого оленя!.. Бедный Мотылек гнался за ним всю ночь и, верно, совсем с ног сбился. Хуан воткнул мачете рукояткой в землю, надеясь, что собака споткнется об нож и ему удастся поймать ее. Но ему дьявольски не повезло. На этот раз удача изменила Канделе — бывало и так. Олень проскакал, и Хуан второпях воткнул мачете острием вперед... Мотылек мчался как пуля, сливаясь в сплошное цветное пятно. Не успел Хуан глазом моргнуть, как пес налетел на лезвие, и оно так и рассадило его пополам.

— Да,— говорил Хуан,— хорошо, когда собака быстро бегаёт и умеет гнать оленя, но это-то и сгубило моего бедного Мотылька.

В такие вечера Марселино, Мигель или Сориано, случалось, тоже что-нибудь сочиняли. Но разве можно было слушать их после Канделы! Где им подобрать такие слова и так рассекать рукой воздух, как Хуан!

Поговорив, мы укладывались в свои гамаки, и в ночной тишине слышался лишь металлический звон цикад да отдаленные крики петухов.



Однажды утром за работой Марселино неожиданно спросил меня:

— Ты веришь, что может быть столько рыбы?

— Где? — спросил было я, но тут же перехватил его взгляд, устремленный на Хуана Канделу, который поодаль выпалывал сорняки.

Через несколько дней я услышал, как беседовали, натачивая мачете, Мигель и Сориано:

— Я не спорю. Нож, конечно, может расцезь то, что на него летит.

— Например, масло, — перебил я, и Сориано с Мигелем расхохотались. Помолчав немного, Сориано стукнул тыльной стороной мачете по камню и воскликнул:

— Все-таки он врет!

— Ясно, врет, — буркнул Мигель. — Это уж как пить дать.

И мы все трое переглянулись с злорадным торжеством заговорщиков. Теперь вопрос был в том, кто отважится вступить в единоборство с колдовской силой, засевавшей в душе Хуана и светившейся в его глазах.

— Вот возьму как-нибудь вечером, да и скажу... — заявил Сориано, еще сильнее хватив ножом по камню.

— А что ты думаешь, и надо сказать, — заключил разговор Мигель. И каждый занялся своим делом.

Мы и впрямь решили тогда, что пора наконец припереть Хуана к стенке. Можно спустить человеку ложь в первый раз и даже во второй, из вежливости, но смолчать в третий — это уж все равно что не ответить на пощечину.

В тот же вечер большелобый Хуан опять явился к фонарю и, закурив сигарету из свежескрученных листьев, начал рассказывать про войну.

— Я был тогда малышом; кругом — голодуха. Мой дядька, брат матери,— ну и наметанный же у него был глаз скот выбирать! — один только и спасал нас от голодной смерти. Ведь повстанцы вытапывали поля, не оставляя ни грядки маиса, ни усика тыквы. Дядька седлал свою рыжую кобылку и уезжал на несколько дней. Возвращался он нагруженный снедью, вкусней которой я в жизни ничего не едал. Отворит, бывало, дверь пинком, захохочет, швырнет вьюк в комнату и крикнет:

— Ну, теперь вам жратвы на две недели хватит! Ямс, тыквы, бананы, помидоры так и покатятся по полу: замелькает в глазах красное, зеленое, бурое,— да что говорить, каких там только не бывало цветов! Мать сначала подбирала все в подол, а когда плоды сыпались через край, посылала меня за мешком. Но я ведь уже говорил вам, в то время и тыквенных семечек, бывало, не сыщешь. Где же дядюшка доставал все эти чудесные плоды?

Вопрос Хуана повис в воздухе, окутанный клубами табачного дыма. Я бросил беглый взгляд на лица слушателей. Марселино пожирал глазами рассказчика, даже не замечая москита, сосавшего кровь у него на виске. Сориано, Мигель и все прочие слушали разинув рты, беззащитные, как мухи в паутине.

— Так вот, когда дядьке пришла пора помирать,— продолжал Хуан,— он знаком приказал всем выйти, а мне велел остаться. Приподнялся на раскладной койке, поглядел на меня стекленеющими глазами и сказал: «Слушай, Хуан, есть вещи, которые всем не расскажешь. Люди не видят ничего дальше собственного носа, а чуть что в диковинку — смеются: небылицы, дескать. Но ты не из таких, и тебе я доверяю свой секрет — не уносить же мне его в могилу! Так

слушай же. На полуострове Савата, у самых истоков Рио-Негро, среди болот ювустарников Бьюсь/Гропинка. Отправляйся по ней на рассвете и скочи шесть дней без передыху, пока не покажется вулкан. Между твоей дорогой и вулканом может гореть, но ты в него не заезжай, а правь прямо в воду, где всякого добра полным-полно. Индейцы — люди хорошие».

— Какой же это город, дядюшка? — спросил я.

— Мехико, мальчик, Мехико. Где ж, ты думаешь, мог я еще достать такую прорву зелени? — И с этими словами он отдал богу душу. Хуан помолчал минутку. Никто не шевельнулся. Рассказчик поднял голову, обвел слушателей торжествующим взглядом и добавил: — В самом деле я думаю на днях съездить туда. Бьюсь об заклад, что никто больше не знает дороги в Мехико.

Сориано вдруг вскочил. Он выпрямился, заложив ладони за широкий пояс, но взгляд Хуана тут же охладил его. Сориано осекся, проглотил слюну и покорно уселся на свое место.

На другой день, когда Хуан пошел с миской на кухню, Сориано показал мне сложенный вдвое грязный клочок бумаги. Выцветший рисунок изображал пассажирский пароход, а вверху можно было разобрать: «Столько-то песо — проезд до Мехико и обратно».

— Что ж ты вчера вечером сдрейфил? — спросил я.

— Сам не знаю, слова вдруг застряли у меня в глотке, — смущенно ответил он.

Мы разошлись по участкам сахарного тростника, густо заросшего сорняками. В то утро Сориано был на редкость молчалив. Мигель завел было разговор о табачной тле и способах ее истребления, но Сориано

но не принял участия в этом старом, постоянно возобновлявшемся споре. Вечером, когда солнце перевалило уже за крышу склада и мы курили, стоя в дверях барака, Сориано вдруг прорвало и, опрокинув пинком корыто с куриным кормом, он воскликнул:

— Ну уж сегодня я ему все выложу, черт меня поberi! Вот увидите!

Но в этот вечер загорелись тростниковые заросли в Асте. Из усадьбы прискакал дон Карлос и велел нам идти на подмогу соседям. Мы отправились тушить пожар и провозились там всю ночь и утро. Днем нам дали отоспаться, и мы, как были, грязные и прокопченные, завалились в свои гамаки. Вот тогда-то Хуан и схватил сильную простуду. Теперь, едва поев, он шел к гамаку и часами кашлял там до полного изнеможения. Понемногу, сами того не замечая, мы и думать забыли о том, чтобы уличить Хуана во лжи. По-прежнему мы беседовали, собравшись вокруг фанаря, но без Канделы в наших беседах не было ни склада, ни ладу. Рассказав какую-нибудь историю, каждый невольно кидал взгляд на пустой ящик, где обычно сидел Хуан; никто уже не заикался, что надо было бы его вывести на чистую воду. И мы уныло обсуждали, как бороться с вредителями, особенно с табачной тлей.

Но наконец Хуан выздоровел. Кашель, правда, все еще не оставлял его в покое, но это лишь прибавило соли его рассказам. Хуан сдерживал кашель, пока не наступал самый захватывающий момент: тут он задавал вопрос и изо всех сил кашлял, чтобы подольше протянуть с ответом. И вот однажды вечером он снова завел свое. От возбуждения даже вскочил, размахивает руками — так каждое слово и припечатывает:

— Вот это был мах! так мах! Чтоб у меня язык отсох! Всем змеям змея. Спина в темных пятнах... Но стойте, стойте, дайте рассказать по порядку... Кроме солнца да звезд, ничего-то я там не знал, когда нанялся на работу. Это было у подножья Сьерры-Маэстра, в самой глуши. Знаете, лес такой, что на двадцать миль кругом неба не видать. Начали мы, значит, валить деревья. Мне досталась вековая ёлка — и втроем не обхватишь. Ну, взял я топор и — бах! — первый удар, бах! — второй, как вдруг чувствую — дьявол! — грудь мне сжимает что-то толстое и холодное... Эх, друзья мои, к сорока годам немало уж натерпелся страху, особенно коли всю жизнь промыкался в бедности. Да, немало ужасов перевидал я на своем веку, но только в тот день понял, что значит стухнуть не на шутку... Какое-то чудовище сжало мне горло, да так, что у меня сперло дыхание, а глаза полезли на лоб. Хватаюсь руками за страшные тиски — они выскользывают... Я все еще не пойму, что за черт в меня вцепился. Задыхаюсь, полумертвый, вспоминаю вдруг про нож за поясом... Сам не знаю, как нащупал ножны и еле-еле поднял руку, а рука словно каменная, — казалось, сто пудов в ней. Наконец взмахиваю ножом чуть повыше головы и как подкошенный валюсь навзничь. Так меня горячей змеиной кровью и обдало... А увидел я это страшилище с отрубленной головой — душа у меня ушла в пятки. Кровь хлестала из него, словно вода из лопнувшей водопроводной трубы. Поглядели бы вы только на эту гадину! Ну и здоров же был, чертяка! Ровнехонько сорок вар<sup>1</sup> оказалось, когда вытянули его во всю длину.

---

<sup>1</sup> В а р а — мера длины, равная 83,5 сантиметра.

Хуан развел свои длиннющие костлявые руки в стороны и умолк. Сориано вскочил и набрал воздуха в легкие. Но Хуан смотрел на него в упор. От лихорадки он совсем высох, однако глаза горели по-прежнему. И хотя Сориано был уже на ногах и уже запылся воздухом, чтобы выпалить бог знает что, он так и не раскрыл рта. Тогда у меня мелькнула мысль, и я тоже поднялся.

— Может статься, мерка у тебя была неправильная, Хуан,— сказал я. Он посмотрел на меня так же, как на Сориано: косматые брови сурово нахмурились, а глаза метали искры. Я выдержал, не моргнув, этот взгляд, и тогда он вновь перевел глаза на Сориано и ответил:

— Что ж, может, и так.

— Наверное, в нем было от силы тридцать! — почти закричал Сориано, сам теперь вызывающе глядя на Канделу.

— И того меньше,— перебил, смеясь, Мигель, и все дружно расхохотались.

Хуан поднял голову, скрестил руки на груди и, обведя всех глазами, преспокойно сказал:

— Конечно, если хорошенько смерить, то, может, и не больше тридцати.

— Болтай, болтай! Скажи уж, не больше шести,— перешел в наступление Сориано.

И тут случилось нечто страшное. Хуан схватился за мачете и, занеся его над головой, прорычал:

— Кто скажет хоть на полметра меньше — убью!

Все застыли на месте. Глаза Канделы налились кровью, а смуглая рука побелела — так стиснул он рукоятку мачете. Мы молчали. Ведь теперь не только во взоре его, но и в руке сверкала сталь. А это уж не шутка! Наконец Хуан медленно опустил нож и сказал:

— Скоты вы, неблагодарные скоты, и больше никто! И, повернувшись спиной, исчез в темноте барака.

Сахарный тростник все рос, а полчища сорняков шли на него войной. Эта война и позволяла нам кое-как перебиваться во время «мертвого сезона», до начала уборки. Заработки были по-прежнему скудные, и по-прежнему все товары в лавке мы забирали в долг.

Порою по вечерам к нам в барак доносилась из усадьбы гитара управляющего. Но Хуан больше не рассказывал. Он не покидал своего гамака, как во время лихорадки, а мы сидели в дверях, перебирая свои жалкие воспоминания и украдкой поглядывая на пустующее место Хуана.

Однажды душным вечером пришел к нам дон Карлос и стал говорить что-то мудреное про звезды и луну. Под конец он сказал:

— А земля — шар.

— Да ведь она кажется плоской, как стол, — засмеялся Мигель.

Дон Карлос выпустил кольцо дыма и, повернувшись, чтобы идти обратно в усадьбу, ответил:

— Многое кажется не тем, что есть на самом деле.

Никто больше не проронил ни слова, но на душе у меня стало как-то смутно. Я начал понимать, что рассказы Хуана тоже имеют отношение к звездам дона Карлоса, к таинственному миру вещей, которые не то, чем кажутся. Он живет другой жизнью, вне времени, вне наших забот и нашего барака. Думаю, что и товарищи мои испытывали нечто подобное. По крайней мере помню, когда мы расходились, Мигель промолвил, ни к кому, собственно, не обращаясь:

— Надо, стало быть, верить во что-нибудь красивое, хотя бы его и не было.

В ту ночь я никак не мог заснуть. Было свежо и тихо — лишь иногда вдали кукарекали петухи, но часы шли за часами, а сон так и не смыкал мне веки. На рассвете я услышал, как у гамака Канделы раздавался едва слышный умоляющий шепот Сориано:

— Расскажи нам опять что-нибудь сегодня вечером, Хуан. Пожалуйста.

— Вы подлые маловеры, — отрезал Хуан, не считая нужным понижать голос, как Сориано. Но тот настаивал:

— Да брось! Что с нас взять? Сидим здесь сиднем, ничего дальше носа не видим. Но теперь мы знаем, что ты говорил правду.

— Теперь? Почему теперь?

— Ну, неважно... Видишь ли, вчера дон Карлос рассказал нам про землю и про то, что есть, но не показывается.

— При чем тут я?

— Сам хорошенько не знаю, Хуан, но что-то есть общее. Мне толком не разобраться!

Я подслушивал их разговор и затаив дыхание ждал, пока Хуан согласится. Он должен был согласиться: недаром он был Хуаном Канделой, недаром подчинял себе наши души и вместе с нами ходил по земляному полу барака. Впрочем, я уверен, что и в богатом доме с паркетными полами в любой точке земного шара звучало бы равно неотразимо волшебное слово Хуана Канделы.





## МОЯ СЕСТРА ВИСИЯ

Задумавшись, я уставилась на угол стола, а когда перевела взгляд туда, где круто изгибалась красная лента дороги, то вдруг заметила бесшумно подъехавший автомобиль и красное облачко пыли за ним.

...Мой отец говорил, что Висия ушла из дому в дождливый вечер, а моя мать уверяла, что нет: она насыпала курам зерно, когда раздался рокот автомобиля, и она узнала зеленое платье Висии. Ясно было одно: Висия исчезла однажды вечером, и больше мы ничего о ней не слышали.

Однако воспоминание о Висии жило в нашем доме, и в воспоминаниях, особенно маминых, Висия всегда была лучше всех.

— Висия сначала бы зашила, а потом бы уж постирала,— говорила мама над моей головой, глядя, как я стираю.

Какое-то внутреннее пламя пожирало Висию, и она ушла, чтобы погасить это пламя.

Никто никогда не знал точно, что ей нравилось, а что нет,— она была молчалива и работала не покладая рук.

Иногда по вечерам, когда свет заходящего солнца золотил холмы, мой отец, глядя на них, рассказывал, как в такие вот вечера Висия уходила на берег ручейка, заросший зелеными хлыстиками дрока, и оставалась там, глядя вдаль, пока на горизонте не вспыхивали городские огни. Отсюда они казались мигающими желтыми точками, но она знала, что это — огни города. Я в то время, должно быть, только начинала ползать, а может, и того не умела... Висия была здесь, она заполняла собою весь дом — это Висия прибила засиженную мухами мадонну, что висит на стене... Как я уже сказала, она ушла из дому однажды вечером, и мой брат Педро едва не загибал лошаадь, помчавшись вслед за автомобилем, а потом вернулся домой один, с пылающим и заплаканным лицом. Не знаю, часто мне говорят, что я на нее похожа, что у меня такие же волосы, и я подолгу смотрюсь в зеркало и нахожу, что мои волосы красивы.

Однажды от нее пришло письмо всего в несколько слов, и из конверта выпала фотокарточка. Она выглядела на ней красавицей с полными, яркими губами. Я не знала, какой была Висия раньше, но сейчас мне показалось, что она лучше нас всех. Моя мать сказала, что у нее никогда не было таких кругов под глазами и такого взгляда, и, бросив карточку, заплакала. Я подняла фотографию с пола и долго ее рас-

смотривала. Высокие каблучки Висии тонули в песке, а сзади виднелось беспокойное море. Ветер играл гемными прядями ее волос... Здесь были также какие-то мужчины в коротких брюках, а один из них стоял позади Висии и держал над ее головой пустую бутылку. Он был толстый и смеялся; его загорелые широкие скулы и лысая голова так и блестели на солнце. Отец сказал, что не желает на нее смотреть, но потом все же велел Педро вырезать из фотографии голову Висии и спрятал ее в крышке своих часов. Я не понимала, что случилось с Висией,— она была такой, какой должна быть настоящая женщина... и какой она не должна быть. Но я потихоньку от всех любила ее, а когда однажды четыре дня подряд бушевала непогода, я подумала: если бы Висия была здесь, она бы смогла укротить даже ветер. В другой раз я хотела сказать «бог», а сказала — «Висия»; даже такое приключилось со мной однажды.

Мой дядя, который иногда навещал нас, говорил, что все это от настоя агуате<sup>1</sup> и при этом многозначительно посматривал на мою мать. Дядя ходил в начищенных до блеска сапогах; у него было много земли и тростника. Никогда он не отзывался хорошо о Висии, и однажды мой отец сказал, что не желает знать, что дядя о ней думает. Пусть он это зарубит себе на носу и раз навсегда избавит его от этих разговоров. Под конец он выгнал дядю из нашего дома. В ту ночь меня разбудили шум и громкие голоса, а потом пришла мать и сказала, чтобы я спала спокойно, что все только к лучшему. Я не поняла, что значит «к лучшему», но дядя никогда больше не

---

<sup>1</sup> Настоя агуате.— По преданию, человек, испробовавший настой из листьев дерева агуате, влюбляется.

появлялся в нашем доме. Иногда мимо нас проходили мачетеро<sup>1</sup>, и моя мать выходила на дорогу и расспрашивала, не встречали ли они где-нибудь на белом свете веселую черноволосую девушку, что замужем за толстым и лысым мужчиной. Ей отвечали, что нет, что люди они деревенские и что, вероятно, эта самая Висия живет со своим мужем где-то в других местах. Но однажды кто-то из мачетеро остановился в раздумье и задал матери несколько вопросов. Она отвечала ему кивком головы. Тогда человек сказал:

— Ну, у этой-то не было мужа!

Видно, выражение мамино лица смутило его, потому что он потупился, почесал подбородок и поспешно добавил:

— Может, он где-то ездил, когда я был там, сеньора!

Мать ничего не ответила, но прохожих расспрашивать перестала.

С тех пор прошло много лет, и я выросла, мечтая стать похожей на Висию. Когда мой отец засыпал после обеда, я потихоньку залезала в его карман, вытаскивала часы и, глядя на лицо Висии, искала в нем сходства с собой.

Так вот, прошло много времени: раз десять с тех пор мы убирали тростник<sup>2</sup>. Уже у Педро был свой клочок земли в Сьерре и двое мальчишек, которые ходили рядом с ним по полю и погоняли быков. Я сидела за столом и вдруг, взглянув на дорогу, увидела

---

<sup>1</sup> Мачетеро — батрак, работающий на сахарных плантациях (от слова «мачете» — нож).

<sup>2</sup> Сбор тростника происходит два раза в год.

подпрыгивающий автомобиль и красное облачко пыли за ним.

По-моему, сердце мне сразу сказало, что это она. Я увидела ее издали, одетую в серое. Она с трудом вылезла, что-то протянула шоферу, и машина тронулась. Она стояла, прислонившись к изгороди, и не сводила глаз с дома.

— Висия! — закричала я. — Мама, Висия приехала!

Мать уронила на землю мокрое белье, которое развешивала на веревке. Из дома раздался дрожащий голос отца:

— Неправда, не может быть!

Я побежала к ней навстречу, жадно всматриваясь в ее лицо. У нее были глубоко запавшие глаза и какие-то тускло-серые волосы. Она попыталась мне улыбнуться, по щекам ее текли слезы. Притянув меня к себе и запустив руку в мои волосы, она устало спросила:

— Как тебя назвали?

— Роса, — ответила я, за стучком сердца почти не слыша собственного голоса.

И уже потом, когда прибежала моя мать, мы поняли, что Висия едва стоит на ногах. Нам пришлось, поддерживая, довести ее до кресла. Отец не хотел выходить из комнаты, но, когда мама сказала ему, что Висии совсем плохо, он вышел и поднял голову, чтобы посмотреть на нее. И тогда я заметила, как мама, сидевшая у ног Висии, бросила на отца полный мольбы взгляд. И он только тихо сказал:

— Такая уж наша судьба.

Больше я не могла выдержать. Я бросилась бегом из дому и зарылась лицом в траву, чтобы никто не видел моих слез...

Вот и в этом году уже скоро начнут звонить пасхальные колокола. Лицо матери покрылось морщинами, и она совсем сгорбилась. Педро хочет взять нас к себе и продать наш участок. Но отец пока не соглашается; он говорит, что и сам еще на что-нибудь годится. Над дверью прибит большой портрет Висии — на нем она изображена маленькой девочкой, и под ним стоит глиняный кувшин, всегда полный белых цветов.

А я уже не хочу быть похожей ни на кого.



У ГОРНОЙ ДОРОГИ

Старый Матиас стоял у дверей своего дома, когда увидел внизу, на дороге, человека, идущего вдоль ограды.

— Должно быть, Махенсио,— сказал он, обращаясь к жене.

Выглянув из-за спины мужа, старуха заметила:

— Махенсио хромот, а этот нет.— И потухшие глаза на маленьком личике стали настороженно всматриваться в незнакомца.

Сухое, морщинистое лицо старого Матиаса трудно было назвать приятным. Над беззубым ртом торчал горбатый нос, маленькие, холодные глазки беспокойно бегали по сторонам.

Между тем идущий вниз человек раздвинул ряды проволоки и пролез через изгородь. Затем, осмотревшись, он нашел тропинку в высокой траве и направился к дому.

— Какой-нибудь прохожий,— решила старуха.

Старик промычал в ответ что-то неопределенное.

Незнакомец подошел ближе и, оглядев старика спокойными темными глазами, спросил:

— Не вы будете Висенте Матиас?

Услышав свое имя, старик успокоился.

— Я и есть, вот уже целых пятьдесят четыре года,— ответил он и, засмеявшись, обернулся к жене.

Но незнакомец в ответ даже не улыбнулся. Матиас бросил взгляд на его пояс, потом на руки и спросил:

— Чем могу служить?

— Я ищу человека, который бы мне помог в одном деле.

— Уж не я ли тот человек?

— Может, да, а может, и нет,— ответил незнакомец, продолжая все так же спокойно смотреть на него.

— Если вы хотите узнать что-нибудь о наших местах, то я прожил здесь столько времени, что могу теперь сидеть в тени дерева, которое сам вырастил.

— А все-таки может случиться, что вы мне ничем и не поможете.

— Вам лучше знать,— ответил обескураженный Матиас.

Незнакомец медленно поднялся по ступенькам террасы и устало опустил на табурет.

— Я брат покойного Наранхо.

Матиас слегка подался назад, натолкнувшись на старуху, а незнакомец продолжал:

— Что, стыдно говорить об этом?



— Да-а-а, как вам сказать...— уклончиво ответил старик.

— Нет, приятель, чего там. Будем называть вещи своими именами. Бандита может родить любая женщина, какой бы хорошей она ни была.

Старуха сжала локоть мужа, и тот затараторил без остановки:

— Да уж, что верно, то верно... Другому прямо на руку написано быть разбойником, тут уж сам черт ничего не поделает... Знаете, у меня самого был дядя — очень плохой человек, такой плохой, что мы даже обрадовались, когда его повесили. Нет, я вам говорю, если человек потерял совесть...

Но незнакомец оборвал его на полуслове.

— Мне сказали, что моего брата убили где-то здесь.

Матнас отрицательно покачал головой и проговорил, уставившись на свои башмаки:

— Врут, наверно.

— Я виделся с вашим кумом Махенсио.

Тут старуха подняла голову и, протиснувшись между стеной и мужем, заговорила:

— Вы сегодня видели Махенсио?

— Нет, не сегодня... Вчера... Мы с ним обедали.

— Как Тереса?

— Все в порядке.

— Что, уже родила?

— Да. В субботу, кажется. Мальчика...

Старуха, обрадовавшись, взглянула на Матнаса, и все трое замолчали. Ветер едва доносил звон колокольчиков да шелканье бичей погонщиков, гнавших стадо, далеко внизу, у подножья холма.

Неожиданно старик хлопнул себя по ляжке и сказал:

— Ладно, раз вы пришли от Махенсио, могу вам сказать, что вашего брата убили недалеко отсюда.

— Об этом знаете только вы.

— Да, больше никто.

— Вы и полиция.

Висенте Матиас бросил на незнакомца быстрый взгляд, пытаясь прочесть что-нибудь в его глазах, но это ему не удалось.

— Я ничего не хочу знать о своем брате. Собаке собачья смерть.

— Тогда зачем же вы пришли? — спросил старик.

— У него был единственный портрет матери, и мне его не вернули.

— Может, он его потерял.

— Кто знает? А может, и обронил в драке...

Старик поднял голову, пытаясь разглядеть вдаль у кедра двух дерущихся петухов. Затем он с уверенностью произнес:

— Это произошло без драки.

Незнакомец вытянул ноги, пошарил в кармане и, достав две сигареты, бросил одну Матиасу, который поймал ее на лету. Прикуривая, он заметил:

— Что ж, тем лучше.

Шагах в ста за домом, над дорогой, круто поднимался скалистый холм. Взгляд Матиаса скользил от его подножья к вершине, туда, где высоко в небе парили ястребы.

— Видите, вон темное пятно?

— Да, вижу очень хорошо, — ответил незнакомец.

— Это случилось там.

Тогда гость поднялся со своего места и сказал, доставая кошелек:

— Что тут долго разговаривать. Вы как раз тот человек, который мне нужен. — И быстрым движе-

нием бросил кошелек, из которого посыпались деньги прямо к ногам старухи.

— Вот вам задаток...

Висенте Матиас задрожал от радости, глаза его увлажнились.

— Лусиана,— сказал он жене,— припрятать эти деньги вместе с теми... а я пойду помогу нашему гостю.

Старик затянул потуже пояс с висящим на нем мачете.

— Пошли,— бросил он и двинулся первым.

Старуха некоторое время смотрела им вслед, потом закрыла дверь.

Им надо было подняться очень высоко. Они продирались сквозь кусты колючей ежевики, цепляясь за каждый надежный выступ. Наконец они достигли входа в пещеру. Старик вытер ладонью пот со лба. Незнакомец посмотрел вниз и увидел домик Матиаса, одиноко затерявшийся в долине, и дерево, которое старик сам посадил на своем участке,— отсюда оно казалось маленьким серым пятнышком среди зеленых просторов. Затем он заговорил:

— Портрет мог упасть в какую-нибудь трещину, не правда ли?

— Да,— со вздохом произнес Матиас и стал рассматривать дно пещеры.

Незнакомец, не двигаясь, пристально глядел на согнутую спину старика.

— Как вы думаете, а человек тоже может провалиться в такую дыру?

— Ну нет, человек вряд ли,— ответил старик, наклоняясь еще ниже и чувствуя, как дохнуло на него холодом из трещины.

— Но свое доброе имя, пожалуй, здесь можно потерять, а?

Старик, все еще сидя на корточках, застыл, разглядывая темные расщелины в камнях.

— К чему это вы? — спросил он.

— К тому, что, может быть, ваш дядя вовсе не был таким уж плохим человеком...

Матиас почувствовал облегчение. Упорная мысль слишком долго не давала ему покоя. Стараясь отделаться от нее, он продолжал шарить руками по дну пещеры, разгребая птичий помет.

— И может быть, мой брат был таким же бандитом, как ваш дядя... — продолжал незнакомец.

Старик мгновенно выпрямился, но у него не хватило мужества обернуться. Он снова скорчился, не отрывая глаз от серых трещин, из которых несло холодом, леденящим все нутро.

— Мой брат был революционером и выполнял задание революции.

Старик все пытался отделаться от мысли, которая назойливо сверлила ему мозг; он смог лишь произнести:

— Со многими это бывало.

Но голос незнакомца звучал все сильнее:

— Да, со многими, потому что есть еще на свете продажные твари, которые приводят полицию, когда честные люди спят!

Больше Матиас не мог выдержать. Он быстро вскочил и увидел прогнанную к нему руку незнакомца.

— Припрячь мои деньги вместе с теми, Висенте Матиас!

Гулкое эхо сотрясло пещеру, вспугнув обезумевшую стаю летучих мышей.



## НИНО

**В**се пришли проститься с покойником. Дом стоял за деревней, далеко от последнего фонаря. Пришли даже капитан и алькальд и несколько солдат. Посреди комнаты стоял гроб, и в нем покойник с темно-фиолетовым лицом, как у всех, умерших от удушья. В комнате плакали женщины, в старом кресле спал, съездившись, босоногий мальчонка.

Я вышел во двор, опустился на скамейку, спиной к луне, и облокотился о колодец. Старик Хулиан Баррерас, нелюдимый и суровый, как всегда, тоже был здесь. Во двор входили все новые люди и собирались группами. Пошли разговоры:

— По меньшей мере, пожизненная каторга...

- А может, и расстреляют...  
— Или убьют при попытке к бегству...  
— Подумать только, поднять руку на жандарма!..— воскликнул кто-то.

Покончив с этим, они стали говорить о женщинах, об алькальде и капитане. Но все сходились на одном,— Нино совершил зверский поступок. Нино с «Каролины» убил Селорио Рамоса. Таково было сообщение, и к нему нечего было добавить, кроме того, что Нино сам явился в сельскую жандармерию с мертвецом на плечах и сказал что-то такое, чего никто не хотел повторить.

Старая Руперта, на глазах которой вырос Селорио, набросила на голову шаль и пошла к вдове.

— Дочь моя, будь уверена, бог обо всем помнит!

Хлопнув себя по колену, капитан в ярости воскликнул:

— Ну можно ли после этого доверять таким людям? Повесить его следует!

— И немедленно!— поддержал капитана алькальд, всем своим видом выражая одобрение.

А жена капитана и жена алькальда тем временем перешли к болтовне о модах.

Лусио Бермудес — писарь жандармерии, получивший увольнительную, чтоб проститься с покойником, гнусный тип, невежда и пролаза,— выскочил из своего угла и с преувеличенной запальчивостью выкрикнул:

— Я знал, что этот Нино кого угодно может убить. Подумайте только, ведь половина его земли краденая.

Он кричал так громко, что мы со старым Хулианом, несмотря на то что находились во дворе, слышали каждое слово. Я посмотрел на Хулиана, а он только сказал:

— Смотри-ка, чего только не услышишь!

Речи старика неизменно вызвали во мне глубокое чувство уважения к нему.

— Но вы-то, старина, не верите этому?

Он повернулся ко мне лицом. Теперь мне видна была его шляпа, посеребренная сверху луной, а под полями шляпы, в тени, красный огонек сигареты.

— Поверьте мне, если человека вывести из себя, любой сделает то же самое, что и Нино.

И тогда он рассказал мне, как было дело:

«Нино жил на своем участке в полукилометре от жандармерии. Это был человек высокий, статный, словно могучий дуб, с добрым лицом и большими ясными глазами. На его лице легко появлялась улыбка. Он жил бобылем, среди посевов тростника, однако перед домом у него круглый год росли цветы, и всем было известно, что он только делает вид, будто не замечает, когда мальчишки в мае забираются к нему воровать манго<sup>1</sup>. Он умел переносить и хорошие и плохие времена, неустанно обрабатывал свою землю, стараясь по луне и разным другим приметам определить погоду на весь год. Все, что у него было, принадлежало ему, начиная от черной сырой земли, в которой копошились сотни толстых дождевых червей, и кончая двумя волами и арбами. Все это, по́том нажитое, принадлежало ему.

Таким был Нино, но с ним нужно было быть вежливым, вести себя деликатно, а не то в глазах его зажигался огонь. К сожалению, Селорио Рамос мало разбирался в том, какие бывают люди, и слишком хорошо в том, каким должен быть жандарм.

---

<sup>1</sup> Манго — плод мангового дерева; по форме напоминает небольшую дыню, мякоть оранжевая, сладкая, нежная, душистая.

Как-то под вечер капитан велел Рамосу одолжить у кого-нибудь упряжку волов для работы во дворе жандармского участка. Селорио трижды утвердительно кивнул головой, слушая приказание капитана. К несчастью, выбор его остановился на Нино, хотя поблизости жило много других более покладистых соседей. А Нино в этот вечер, пользуясь прохладой, решил вспахать землю. Капрал подошел, посмотрел на волов и, не сводя глаз с упряжки, приказал:

— Распряги их, они нужны капитану!

Нино вытер пот рукой и ответил:

— Они мне тоже нужны.

— Да ненадолго же, — пробурчал Селорио.

— Ненадолго или на всю жизнь — никто не возьмет у меня сейчас волов.

Капрал угрожающе поднял руку, но сдержал себя и только сказал:

— Имей в виду, что это для капитана.

Нино поднял голову; луч солнца упал на его висок светящимся треугольником, а глаза загорелись как раскаленные уголья.

— А хоть бы и для самого господа бога!

Тут уж Селорио вышел из себя и, сделав несколько шагов по направлению к Нино, рявкнул:

— Или ты дашь мне волов, или я уведу тебя самого, чурбан ты этакий!

Но надо было знать Нино. В два счета он очутился возле жандарма, схватил его за пояс и приподнял над своей головой.

— Ты еще не дорос до этого! — процедил он сквозь крепко сжатые зубы и швырнул жандарма на землю. Потом он повернулся к нему спиной, будто выдернул вцепившийся в землю сухой корень. И то, что он повернулся к нему спиной, было очень плохо, по-



тому что жандарм схватил мачете и вонзил его в левое плечо Нино. Но больше он уже ничего не мог сделать — могучая, тяжелая правая рука Нино, схватив жандарма за горло, пригнула его к земле.

Всего лишь одна рука нужна человеку! Одна правая! Только что вскрытая борозда лежала теплая, еще совсем сырая; а в нее втиснулась голова Селорино. Глаза его, налитые кровью, почти вылезшие из орбит, уставились куда-то вверх. Ногти коротких пальцев впились в тело гиганта, правая рука уперлась в раненое, растерзанное плечо Нино. А Нино словно окаменел.

Вот как было дело. Потом Нино поднялся, все той же правой рукой закинул мертвого на свое раненое плечо и, не обращая внимания ни на боль, ни на горячую кровь, направился в жандармское управление.

Он добрался туда, когда уже начало смеркаться. Дежурный жандарм приказал ему остановиться, но он пошел дальше, к крыльцу. Когда из открытой двери упал на него луч света и капитан вышел ему навстречу, Нино сбросил с себя мертвеца и сказал:

— Кто имеет вола, тот не посылает его за чужими волами».

Вот что рассказал мне старик Хулиан. А в три утра Лусио Бермудес вышел во двор поискать огня; старик встал перед ним с зажженной сигарой в зубах, и, когда жандарм попросил разрешения прикурить, Хулиан Баррерас, не спуская с него глаз, вынул изо рта окурок и швырнул на землю.



## СЕРДЦЕ КУБИНЦА

...и пока смерть не смежит  
ему глаза, сердце его не дрогнет  
от страха.

*Марти*

— Присмотритесь к человеку попристальней, и вам станет ясно, чем он занимается. Каждого из нас жизнь отливает по особой форме. Возьмите, к примеру, прибрежных жителей, рыбаков. У них не ноги, а сущие лапы с когтями. Такая нога день-деньской цепляется за доски палубы, ищет опоры в шатком днище лодки, уж ее ни с какой другой и не спутаешь. Иначе говоря, о профессии человека можно судить по его внешнему виду, по его телу, даже по части

тела. Но если говорить о Гуадалупе, то все эти рассуждения ничего не стоят. Был он худ, узкоплеч, невысок ростом, с лицом такого темного оливкового оттенка, что и не поймешь, сколько ему лет,— словом, обыкновенный крестьянин, тысячу раз пройдешь мимо и даже внимания не обратишь...

*Рослый детина-мулат, облокотившийся на стойку у кабачке, вдруг умолк: в рот ему чуть было не угодила муха, залетевшая с улицы, спасаясь от проливного дождя.*

*— Вот шальная! Мухи должны замирать, когда речь идет о храбрости.*

*Мы так и покатались со смеху, словно состязаясь, кто громче. Мулат продолжал:*

*— Но таким он был только с виду. Недаром говорится — за ребрами сердца не видеть. Я гляжу, вы сомневаетесь: где в мире найдется смелый человек, у которого на лице не написано, что он способен на геройство? А вот судите сами. История эта произошла в ту пору, когда начальствовал здесь старший лейтенант полиции Лопес Роса. Как-то пришел я к Гуадалупе с наказом от дона Хасинто объездить у него молодого жеребца и только раскрыл рот, вдруг откуда ни возьмись этот самый Роса. Вошел и прямым ходом к старику, на меня даже не покосился.*

*— У меня в доме гость, начальник,— заметил ему Гуадалупе.*

*— Прошу простить,— буркнул полицейский и, не оборачиваясь, протянул мне левую руку.*

*Затем он снова обратился к старику, мастерившему за столом недоуздки:*

*— Хочу просить тебя об одной услуге, Гуадалупе. Хотя она нужна не столько мне лично, сколько Кубе.*

*— Слушаю, начальник.*

— Разговор служебный. Посторонние здесь ни к чему.

Гуадалупе, не поднимая головы, сказал чуть тверже, чем обычно:

— При нем вы можете говорить все, что хотите.

Полицейский бросил на меня быстрый взгляд, и мне показалось, что он сейчас повернется и уйдет. Но, видно, его привело не шуточное дело, потому что, помолчав немного, он продолжал:

— Ты слышал о проделках Конго, Гуадалупе?

— Да.

— Так вот. Я не хочу порочить моих людей, но, должен признаться, ни один из них не способен взять Конго живым или мертвым.

*Снова эта проклятая муха! Она прожужжала у меня над ухом и с лету шлепнулась о высокий открытый лоб мулата. Тот взмахнул рукой перед своим носом, но муха нырнула вниз и улетела. Мулат вернулся к прерванному рассказу.*

Старик неторопливо отодвинул недоуздок и поднял на полицейского глаза — черные, как две фасолины, а взгляд спокойный и как будто даже немного сонный:

— А я тут при чем, начальник?

— Я тебя не первый день знаю, Гуадалупе. Я уверен, что если кто и может привести ко мне на аркане Конго, так это ты. Ну как? По рукам?

— Ничего не выйдет, начальник.

Старик сказал это почти кротко, глядя на стол, где лежал уже готовый недоуздок. Полицейский в недоумении уставился на недоуздок, хотя по его растерянному лицу было ясно, что он ничего перед собой не видит. Но он тут же взял себя в руки и спросил построже:

— А ты знаешь, что произошло в Тибиси Альто?

— Знаю.

— Двое покалеченных и один убитый. Ты считаешь, это можно оставить безнаказанным?

— Нет, не считаю.

— А ведь это дело рук Конго. Всем в округе это известно. Камни вопят об этом... А история с женой Эмилиано? Бедняга до сих пор сидит здесь, в селении, боится идти домой, все думает, что жена жива, а не умерла от пули Конго.

— Эмилиано помешался от горя, начальник. Но ведь он сам признался, что первым открыл стрельбу, а потом вбежал в дом, спасаясь от пуль Конго. А пуля, она, сами знаете, не разбирает. Вот и угодила в эту несчастную.

— Гуадалупе, пойми, вся округа ждет от тебя помощи.

— Конго не сделал мне никакого зла.

— Он убивает, ворует, разве этого мало? Может, ты вообще держишь сторону таких, как Конго?

При этих словах Лопес Роса возвысил голос. Возможно, он сделал это ненамеренно, но старик вдруг выпрямился и глянул прямо в зеленые глаза полицейского:

— Не хотел я этого говорить, но придется. Я ношу полицейской формы и, наверное, потому вижу больше вашего, начальник. Я-то вижу, что у каждого человека два лица.

— Какие там два лица! — махнул рукой Лопес Роса.

И в ответ на это старик сказал такое, что я буду помнить всю жизнь. Сказал, словно в колокол ударил:

— Вы требуете от человека одного: будь тише воды, ниже травы, не пускай в ход оружия, не зарься

на чужое добро. Я с этим согласен, но я помню и другое, поважнее: человек гибнет от несправедливости, и ни власти, ни закон никогда не встанут на его защиту.

— Этот каналья уже четыре года разбойничает.

— И началось это в тот день, когда он увидел, что его семья умирает с голоду.

— Да ты-то почему знаешь?

— Я человек земли, а земля слухом полнится. И вот что, начальник. Не по нутру мне, когда надо мной хочет взять верх такой же, как и я, смертный, только с нашивками на рукаве, и вводит меня в грех потому лишь, что я не пляшу под его дудку.

Видали, что бывает, если, зажав ладонью горлышко бутылки, перевернуть ее вверх дном? Вся кровь бросилась в лицо полицейскому, но и на этот раз он понемногу успокоился и наконец сказал, вертя перстень на волосатом пальце:

— Ладно, Гуадалупе. Не хочешь делать по доброй воле, сделай за плату. Годы твои не молодые, лишние монеты не помешают.

Роса взглянул на меня так, словно был уверен, что я внезапно оглох и ослеп.

— Что, если я предложу тебе тысячу, другую песо, Гуадалупе?

Старик будто не слышал вопроса. Он перевел взгляд на шляпу полицейского, лежавшую на столе, затем на дверь и сказал спокойно:

— Если теперь вы уйдете, даже не попрощавшись, я буду только рад. Давайте забудем и о вашем посещении, и о ваших словах, и о том, что этот парень все видел и слышал.

Роса молча повинился. Он взял свою шляпу, шагнул к двери, но вдруг остановился и, стоя спиной к нам, пряча лицо, глухо пробормотал:

— Гуадалупе, если когда-нибудь тебе понадобится моя помощь, пусть даже ты убьешь человека,— приходи, не бойся.

Старик ничего не ответил. Стряхнув с колен обрешки кожи, он обратился ко мне как ни в чем не бывало:

— Так что ты хотел сказать? Дон Хасинто просит объездить жеребца? Стар я для такой работы, но, делать нечего, скажи — приду.

*Опять эта несносная муха! Она упала откуда-то сверху прямо на край стакана. Мулат в сердцах стукнул стаканом о стойку, и муха перелетела на его руку. Тут-то он ее наконец и прихлопнул! Поморщившись, он снова поднес стакан ко рту. На этот раз он заговорил лишь после того, как выпил все до дна и стер с усов белые хлопья пены:*

— И все же тремя днями позже Гуадалупе изловил Конго.

— Как так?

— Отрекся от своего слова?

— Польстился на деньги?

*Перебивая друг друга, мы закидали мулата вопросами, но он наливал в стакан пиво из бутылки и не спешил с ответом.*

— Нет, старик не продался. Пришлось ему пойти на это, но не ради денег. И никто, видит бог, никто больше не понуждал его.

— Тогда все это враки.

— Враки? Спросите его крестника,— из-за него-то все и вышло. Сейчас он жив-здоров, у себя дома, так что вы можете поговорить с ним. Нет уж, друг, не суди о том, чего не знаешь. Гуадалупе был человеком необыкновенным, а с такими и случаи необыкновенные приключаются.

*Мулат сделал вид, будто потерял интерес к беседе, однако, уловив в наступившей тишине выражение почтительного внимания, вернулся к рассказу:*

— На третий день после разговора с полицейским к Гуадалупе прибежал дальний родственник его кума. Он должен был с глазу на глаз рассказать старику о постигшем кума несчастье, но, не выдержав, — ведь он сам был во всем виноват, — расплакался и выложил все как есть в моем присутствии:

— Ай, Гуадалупе! Конго вырвал мальчонку у меня из рук и увез в горы. Приставил револьвер к моей груди и... у меня не хватило духу отдать жизнь за ребенка.

— У тебя хватило духу прийти сюда с поручением. Что еще?

— Что ж еще? Теперь он требует выкупа. Ждет, когда я привезу ему деньги.

Гуадалупе изменился в лице, но, как всегда, сохранял спокойствие. Он подошел к столу, выдвинул ящик, где, как я знал, хранились деньги на покупку нового седла для крестника и, вынув пачку бумажек, протянул ее мне.

— Ступай к Педро и скажи, что я покупаю револьвер, который я у него сторговал.

Никогда ни с одним поручением я не бегал так быстро, а когда вернулся, то попросил старика взять меня с собой. Я понял, куда и зачем он собирается, и, если судьба сулила ему смерть, я не хотел оставлять его в трудную минуту наедине с судьбой. Но старик отказался:

— Такая уж у меня дурная привычка — ходить по делу без провожатых. Спасибо, парень.

Что я мог возразить? Что мог я сказать такого, на что он не нашел бы ответа? Я смолчал и потом



долго провожал его взглядом, пока он ехал вдоль улицы. И вдруг мне стало до того скверно, до того тошно, что я, не раздумывая, прыгнул в седло и припустил вслед за стариком. Я то натягивал поводья, то пришпоривал коня, то заворачивал в придорожные заросли гуайявы, все время держась поодаль от старика, чтобы он, случайно обернувшись, не заметил меня. Но, насколько я видел, он так ни разу и не обернулся... Да, не решишь я тогда последовать за ним, некому было бы рассказать вам эту историю... Как сейчас вижу — остановился старик в нескольких шагах от густого кустарника и крикнул:

— Послушай, Конго, я уверен, что ты не трус. Приведи сюда мальчонку и поставь его в стороне, чтобы пуля ненароком не задела. Я не привез денег.

Спрятавшись поблизости за выступом скалы, я хорошо слышал спокойный голос Гуадалупе. В ответ на его слова только пальмы зашелестели от ветра. Но вот из кустарника раздался голос Конго, хотя самого его не было видно.

— Я тебя не звал. Возвращайся и пришли того, с кем я договаривался.

— Сюда нет дороги человеку, который принес бы тебе деньги.

— А ты кто такой, чтобы так говорить?

— Обыкновенный человек, как видишь.

— Значит, тебе не хватает по крайней мере полметра росту, чтобы мне указывать. Ступай своей дорогой, такому сморчку только поручения передавать.

— Я приехал не с поручением, а за парнишкой, и я его увезу.

— Не слишком ли трудная задача для мертвеца?

— Насколько я понимаю, я еще жив.

— Я уже взял тебя на прицел. Не веришь?

Гуадалупе промолчал. Он словно застыл на месте. У меня мелькнула дурная мысль: «Старик знает, что Конго может выстрелить, и хочет как-нибудь извернуться». Однако тут же я услышал его ровный голос. Мои подозрения как рукой сняло, но теперь мне стало страшно за него.

— Убить человека — не хитрое дело, надо только знать, что ты прав. Что ж ты не стреляешь, Конго?

Как прозвучали в тишине эти слова! В зарослях, где укрылся Конго, ветер шелестел листвой. Один бог знал, что сейчас донесется оттуда: человеческая речь или выстрел. Гуадалупе помолчал, ожидая ответа, но, так и не дождавшись, прибавил еще хладнокровнее, чем раньше:

— Есть два пути, Конго. Либо позорно убить из засады, либо выйти на открытое место и честно вести счеты.

— Будь ты проклят! Скольких помощников ты привел с собой?

— Ни одного.

— Рассказывай! Я не ребенок. Убирайся, не вводи меня в грех!

Яростный крик Конго прокатился над кустарником подобно грому в горах. Но старик, казалось, не обратил на это ни малейшего внимания. Снова помолчав, он заговорил терпеливо и рассудительно:

— Послушай, Конго. Я приехал сюда не за тем, чтобы вернуться с пустыми руками. Я все еще надеюсь, что имею дело с мужчиной и ты мне покажешь свое лицо.

— Старый пес! Неужели ты не понимаешь, что мне противно убивать дряхлого болтуна?

— Тогда тебе придется еще послушать меня.

— Нет! Иначе я и в самом деле выстрелю.

— Тогда не теряй времени. Слышишь, Конго, мне надоело ждать.

Большого на месте Гуадалупе никто не мог бы сделать. В голосе его прозвучала чуть заметная злость, но не было в нем ни малейшего испуга или раздражения. Но и Конго не мог больше выдержать. Вместе с выстрелом раздался его предупреждающий крик:

— Дешево меня не возьмете! Получай!

Облачко порохового дыма взмыло над холмом. Но пуля задела только шляпу Гуадалупе. Будто сильным, коротким ударом кто-то сбил ее с головы старика. Гуадалупе словно пригвоздило к месту, — как ни бесстрашен человек, а, что ни говори, пуля есть пуля. Конго кричал:

— Счастлива твоя звезда. Ветер тебе помог.

— И твой страх, Конго. Ты трусишь.

— Что ты сказал?

— Ты трусишь.

— Ложь!

— Если такой меткий стрелок промазал — значит, он трусит. Ветер тут ни при чем.

Снова над кустарником повисла тишина, еще более долгая и зловещая, потому что теперь Конго должен был решиться на что-то большее, чем выстрел.

И вот после нескольких минут молчания, долгих, как годы, Конго неожиданно задал вопрос, в котором сквозило явное недоумение:

— Этот мальчишка — сын тебе, что ли?

— Нет. Разве это обязательно?.. Слушай меня хорошо, Конго. Я думаю, ты так зол сейчас потому, что когда-то с тебя хотели слишком дорого содрать за украденный тобой кусок хлеба, а?

— Ну и что? Это к делу отношения не имеет.

— Имеет. Если тогда у тебя хватило смелости отстоять свою свободу, то и сейчас ее хватит, чтобы не заслониться от пули ребенком. Ты меня понял, Конго?

Он понял, бог тому свидетель. Наступило долгое напряженное молчание. И вот осторожным шагом зверя, приминая кустарник, раздвигая ветви, ломая сухие сучья, Конго спустился с холма и во весь рост предстал перед нами — коренастый, заросший волосами, с винтовкой в огромных, похожих на клешни, руках.

— Теперь ты видишь — я никем не заслоняюсь.— Он вскинул винтовку.— Защищайся!

Но Гуадалупе, державший револьвер наготове с того момента, как слышал хруст веток, выстрелил первым.

Одну ногу Конго сильно толкнуло назад, он покачнулся и выронил винтовку.

*Муллат сделал паузу, смахнул с усов пену и в раздумье покачал головой, словно сам поражаясь тому, о чем рассказывал.*

Казалось бы, на этом старику и кончить, уж куда больше. Так нет. В следующую минуту он повернулся в мою сторону и крикнул:

— Беги, отбери у него винтовку!

Я почувствовал себя так, словно меня голого выставили для всеобщего обозрения. Конечно, я со всех ног бросился к Конго. Как сейчас помню его огромные ручищи, сжимающие раздробленное колено, и его помутневшие от страшной боли глаза.

— Добивайте! Кончай скорей, парень!

— Кто тебе сказал? — раздался за моей спиной голос Гуадалупе.— Кто тебе сказал, что тебя собираются убивать?

— Убейте, ради бога! Найдется, кому заплатить тебе за это представление, проклятый старик. За меня ты получишь.

— Он и заслужил! — вырвалось у меня, но я тут же прикусил язык.

Гуадалупе смерил меня взглядом с головы до ног.

— Ты знаешь на Кубе человека, который предлагал бы мне деньги за жизнь Конго?

Я, правду сказать, смешался. Оба смотрели на меня выжидательно. Но если я и научился понимать кое-что в характере Гуадалупе, так это ход его мыслей в определенные минуты. Я опустил глаза, как бы припоминая, затем сказал твердо:

— Нет, Гуадалупе, я не знаю такого человека.

Нам оставалось разыскать мальчонку. По следу Конго мы поднялись вверх по холму и увидели его. Он с такой стремительностью бросился к крестному отцу, словно знал, что только на груди старика может укрыться от всех опасностей.

Вот и все. Мы вернулись к раненому Конго, и старик сказал ему, как добраться до одного знакомого дома, где надежные люди укроют его на время и вылетят втайне от любопытных глаз. Затем он посадил мальчика к себе в седло, и мы втроем поехали домой. Я не сводил глаз с Гуадалупе и только диву давался: худой, немощный, а такое выдержал, и хоть бы след усталости или волнения на лице. Кремень, а не человек!



МНОГО ДНЕЙ  
СПУСТЯ

...а теперь вырви из моей  
памяти растоптанную радость  
тех дней...

*Мануэла*

**В** тот вечер к нам приехал человек из деревни, где я родился, и мы принялись расспрашивать его о тамошних новостях. Мой отец — теперь он уже вышел в отставку и хлопочет о пенсии — начинает первым:

— Как поживает семья Хименес? Как у них дела с усадьбой?

— Немного они с нее получают, дон Браулио. Похоже, что земля не привыкла к такому обращению.

Моя мачеха, старая молчаливая женщина, подняла голову и тоже хотела о чем-то спросить, но про-

молчала и, взяв в руки пузырек со своим лекарством, принялась изучать способ его употребления. Отец, продолжая начатый разговор, качает головой:

— Вот отец, тот умел извлекать выгоду из земли.

Я стою в дверях, собираясь уйти, но меня останавливает внезапно возникшее воспоминание, и я спрашиваю в свою очередь:

— А что Сусана? Все еще в деревне?

Прежде чем знакомый успеваешь ответить, мачеха хмурится и бросает на меня взгляд, достаточно быстрый, чтобы увидеть выражение моего лица и вместе с тем остаться незамеченным. Но я ждал этого взгляда.

Оказывается, Сусана умерла в прошлом году.

— Умерла! — Я выпрямляюсь и поднимаю руку, словно желая отогнать эту весть. — Умерла! — невольно повторяю я. — Не может быть!

Отец прерывает меня:

— А ты, мальчик, хотел бы, чтоб она еще пожила?

— Да, — отвечаю я и умолкаю, но меня охватывает острое, почти болезненное желание — узнать, что скажет моя мачеха; сейчас она уже старая и больше не командует в нашем доме.

— А вы что об этом думаете, Мануэла?

Она ничего не думает, ничего не говорит, даже не поднимает взгляда от пузырька с лекарством, и я замечаю на лице отца легкую тень тревоги: он боится, что может произойти взрыв. Так и не получив от нее ответа, я поворачиваюсь к гостю, который только что положил на стол сверток с лимонами из нашей деревни.

— Откуда вы узнали, что она умерла? Вы видели ее?

— Бог знает, что ты спрашиваешь, — говорит

отец.— Можно подумать, он родственник Сусаны или живет в ее доме...

Окончательно смешавшись, отец пытается за неловкой улыбкой скрыть свое беспокойство. Но я делаю вид, что ничего не понимаю, гость сидит не шелохнувшись, а моя мачеха все так же не отрываясь смотрит на лекарство, и ее старые узловатые руки медленно поворачивают пузырек.

— Если вы хотите знать, дон Браулио, то да...

— Что да? — спрашивает отец, и человек говорит:

— А то, что хоть я ей не родственник, не сосед и даже не просто знакомый, а присутствовал при ее смерти. Такая уж мне выпала судьба.

Я тотчас же бросаю взгляд на мачеху. Я надеюсь, что она слышала последние слова, но она молчит. Потом наклоняется вперед, ставит пузырек на стол и говорит отцу:

— Это лекарство должно мне помочь.

Отец хочет что-то добавить, но я боюсь, что разговор примет другое направление, и спрашиваю резко, прямо, специально с таким расчетом, чтобы ответ дошел до Мануэлы:

— А Сусана умерла, случайно, не от голода?

— Голод никогда не был случайностью в доме Сусаны.

— Значит, у нее не было даже горсточки риса, чтобы как-нибудь перебиться?

Наконец-то, наконец-то удар, который я готовил так долго, попал в цель... Мачеха оборачивается ко мне прежде, чем человек успевает ответить. В ее глазах отчаяние, она смотрит на меня долгим, полным слез взглядом, и в нем все горе, вся скорбь старого больного существа; я замечаю, что отец делает беспокойное движение. Он хорошо ее знает, он прекрасно



понимает, о чем она сейчас думает, чего хочет, но не произносит ни слова; проходит мгновение, за взглядом Мануэлы так ничего и не последовало, она снова замыкается в себе, и мы слышим голос гостя:

— Сусана вся высохла, бедняжка. Слишком уж мало она ела, а то и вовсе не ела. У нее было много детей, и все такие крепкие парни. Один за другим они разъехались кто куда. И младший, семнадцатилетний, тоже. Да что там рис! Просто чудо, что вода у нее была, в этой лачуге, где и умереть-то страшно! Но, представьте себе, она никогда не жаловалась на детей! Говорила, что все далеко и у каждого свои дела!

Теперь моя мачеха опускает голову. Очевидно, не все ей по силам, но я хочу довести дело до конца и спрашиваю:

— А будь у нее хоть немного риса, она бы могла продержаться? Как вы думаете?

Тут мачеха выпрямляется. Я надеюсь, что в глубине души она горько сожалеет о своем давнишнем поступке, я верю, что мои старания не напрасны, но ее голос, вся ее осанка приобретают вдруг непреклонную силу прежних дней, и, овладев вниманием почти тельно молчавшего гостя, уверенная, что отец не спускает с нее глаз, она говорит:

— Сусана была воровкой.

— Вы это хорошо знаете, Мануэла. И вы и я, мы что знаем, но не кажется ли вам, что если человек голодает, он вынужден стать вором?

Теперь мы столкнулись лицом к лицу. Ошеломленный отец смотрит на меня в испуге; я чувствую на себе его взгляд, но я уже выступил против нее и готов к бою. Теперь мы сразимся из-за того большого и настоящего, что скрывается за тысячью мелочей, о которых мы спорим каждый день.

— Никто не имеет права быть вором. Сусана получила свое, и ты тоже получишь свое за твой дурной язык, когда придет время.

— Зато вы получаете свое сейчас. Неужели вам не кажется, Мануэла, что одиннадцать лет назад эта несчастная горстка риса могла бы остаться в карманах ее кофты?

Я сказал гораздо больше, чем следовало, — это видно по лицу отца, и гораздо больше, чем она могла вынести, — это видно по ее глазам, по всей ее тщедушной фигуре. Она встает, вся дрожа, с искаженным лицом, и хватается за грудь.

— Ты сам не знаешь, что говоришь! — Отец бросился к ней, она вот-вот упадет.

— Осторожно, Мануэла, обопрись на меня!

Она кашляет, согнувшись вдвое от мучительной боли, и делает знаки отцу, чтобы он отвел ее в спальню. Отец не спускает с нее глаз. Все произошло слишком неожиданно; взволнованный и расстроенный отец помогает ей, почти несет ее, низко склонившись под тяжестью ее бедного больного тела.

Я смотрю на гостя и за написанным на его лице уважением ко всему происходящему читаю его мысли. Мне кажется, будто он говорит: «Всегда вы были непонятными людьми». Так думают все, кто знал нас в деревне.

Я испытываю тягостное смущение из-за того, что натворил. Неожиданно перед моими глазами встает Сусана, и я вижу, как она укоризненно качает своей большой черной добродушной головой, ей грустно, что вот я, уже взрослый, а лучшего ничего не придумал. Потом раздаются шаги отца, он возвращается, и я готовлюсь выслушать целый поток резких слов. Сей-

час он вспылит, как всегда. В гневе отец способен убить собственного сына.

Однако не происходит ничего подобного. Я слышу, как он торопливо проходит в переднюю, и спрашиваю:

— Что случилось?

— Ты оставайся, я пошел за врачом,— говорит отец и уходит, испуганный и расстерянный, не упрекнув меня ни единым словом. Случилось то, чего нельзя было ожидать, я все понимаю и с тоской смотрю на их спальню, но дверь закрыта.

Моя мачеха умирает. Я это знаю. А он, наоборот, не хочет признаться себе в этом, ему кажется, что, даже обвиняя меня, он внутренне отдаляет этот момент. Но ведь он ее видел. Он ее знает слишком хорошо и должен понимать, что смерть близка. Я не представляю, что теперь делать: это совсем разные вещи — знать о близости чьей-то кончины и увидеть эту кончину воочию. Кроме того, смерть — такая тяжелая кара, что теперь Мануэла заслужила мученический венец и вышла в нашей борьбе победительницей.

Я опять думаю о Сусане. На этот раз я вижу ее плачущей, вижу, как сыплется рис и падает на ее грубые башмаки и на изящные туфельки моей мачехи... В конце концов мне не остается ничего другого, как сесть там, у двери, за которой все происходит. Время то бежит очень быстро, то тянется бесконечно долго... Но вот ожиданию наступает конец — вблизи слышны шаги. Я оборачиваюсь и вижу доктора и отца. Отец проходит вперед, открывает дверь, пропускает доктора, входит сам и закрывает дверь. И снова тишина, и снова тянется время. Наш гость проходит мимо меня, выходит в патио, потом возвращается со своей шляпой. Наконец я замечаю, что доктора уже нет, передо мной стоит отец.

— Идем,— говорит он, и я следую за ним. Мы заходим в кухню. Отец смотрит мне в глаза, тщетно надеясь понять, что творится у меня в душе, но на моем лице ничего нельзя прочесть.

— Пойми, сейчас она умирает! — говорит отец и умолкает, испуганный собственной мыслью. Я не знаю, что ответить. И снова в моей памяти всплывают все эти дни, постоянные стычки и ссоры между нами, и вдруг я отчетливо вижу ее руки, которые тянут и трясут кофту, и струю риса, разбивающуюся о ботинки...

— Иди к ней, она хочет тебя видеть! — приказывает отец. Его голос звучит сурово.

Я подчиняюсь, не раздумывая. Я поворачиваюсь и иду. Мимоходом замечаю человека из нашей деревни. Лицо его ничего не выражает, но он здесь, в гостиной. Случись радость или несчастье, он все равно останется на месте. «Такая уж выпала судьба на долю этого человека», — внезапно понял я при взгляде на его понурую безмолвную фигуру... Наконец я нажимаю на ручку двери и вхожу. Все куда-то отодвигается от меня. Стены комнаты, все предметы, которые ее наполняют. Кровать, картины, лекарства. В воздухе еще держится резкий запах последней ампулы.

Постепенно меня охватывает желание взглянуть на нее. Я начинаю с ног, покрытых простыней, скольжу взглядом дальше и задерживаюсь на груди. Здесь — понимаю я. Это здесь борется жизнь, чтобы не уходить. Дыхание рывками поднимает простыню. Поднявшись, простыня замирает, словно это был последний глоток воздуха, которого жаждала грудь, но тут же опускается, падает вниз, последний раз вниз... И опять медленно, конвульсивно идет вверх.

Я хочу сейчас же уйти, но Мануэла начинает го-

порить, тихо, с трудом, некоторые слова невозможно разобрать, и наконец задает вопрос:

— Как бы все сложилось, если бы Сусаны вообще не было?

— Не знаю,— говорю я.

— А я знаю,— отвечает она, и кажется, что вдруг к ней пришло облегчение, стало больше воздуха и мысли ее прояснились.

— Тогда все было бы по-другому, вся жизнь.

Теперь она открывает глаза и так замирает со взглядом, устремленным вверх.

— Ты помнишь, как это было?

— Да, помню,— жестко говорю я, потому что эти воспоминания совсем разные у нее и у меня.

— Не было необходимости делать это, правда?

— Да, не было ни малейшей необходимости. Все произошло потому, что тебе так вздумалось. Ты представляешь себе, что могло твориться в душе женщины, которая плакала от стыда в сорок лет? Ты помнишь, какое у нее было лицо?

Я говорю горячо и зло, не в силах сдержаться. Я даже придвигаюсь ближе, чтобы сказать ей все это, но она не меняется в лице. Не знаю, может быть, ей хочется сохранить немногие оставшиеся ей силы, а может быть, воспоминания уже не причиняют боли. Во всяком случае, она продолжает говорить, словно и не слышала моих слов:

— Я не помню ее лица. Я тогда смотрела на тебя. Я слышала ее плач, и, собственно, мне даже не нужно было видеть, что ты делаешь.

— Однако ты прекрасно видела!

— Ты был очень обижен.

— Я был взбешен!

— Я помню.

— Но ты же знала, что Сусана выкормила меня вместе со своим последним сыном. Она была матерью для меня или почти матерью.

На это Мануэла ничего не отвечает. Она лишь задает мне один вопрос, поворачивает голову, чтобы видеть меня, и спрашивает очень мягко:

— Хочешь знать?

— Да.— Я киваю головой, я соглашаюсь, что же мне остается еще делать? И она прерывающимся голосом, которого я не хочу слышать, говорит:

— До твоей матери была я. И лишь по чужой прихоти все изменилось... Это было на земле твоего деда... В его усадьбе... Твой отец — сын, я — служанка... мы были одного возраста, и кругом простирались поля... Весна соединяла всех тварей, и это произошло за корралями... Он не владел собой... Я была не в силах отказать... А после моя мать собрала наши вещи, и твой дед выставил нас за дверь... Моя мать шла впереди, она не хотела, чтобы кто-нибудь нагнал нас... Но я не думала о ней... Я думала о ребенке, который мог бы у меня родиться... Твой дед пришел бы однажды к малышу... Все начать заново, по-другому, как следует... Но я навсегда осталась ни на что не годной, как пустой стручок фасоли, навсегда... Зеленая и бесплодная, без семени...

Она замолчала и, кажется, лишилась чувств. Это уже не Мануэла, и мне кажется, что больше она уже ничего не скажет; я медленно поворачиваюсь к выходу, но ее рука поднимается с простыни, и я остаюсь.

— Ты смотришь? Я не такая, как твоя мать, можешь сравнить.

Я поднимаю голову и вглядываюсь в портрет на стене. Да, они не похожи. Шея моей матери словно создана для драгоценностей. И драгоценности созда-

ны для таких женщин. У Мануэлы никогда не было шеи. И благородство, порода видны на портрете, иногда они проскальзывают у моего отца, когда Мануэлы нет поблизости. Она совсем другая, и даже дыхание смерти не может стереть отпечатка, который наложила на нее работа, однообразная, долгая, повторяемая изо дня в день.

— Твоя мать была того же круга, что и отец... Прошло время, и они поженились, и родился ты... В тот же день она умерла... Я была далеко и не знала... Но Сусана уже жила в вашем доме... У нее был сын нескольких месяцев и грудь неиссякаемая, полная молока... А после твой отец нашел меня... И взял с собой!.. А я, чего мне оставалось еще желать? Но я, пойми меня хорошенько, Даниэль,— вдруг говорит она с отчаянием и ищет меня полными тоски глазами,— я так и осталась бесплодной, как пустой стручок!..

Теперь она действительно теряет сознание, и только откинутая рука вздрагивает на белой простыне. Машинально, не отдавая себе отчета, я начинаю считать — одна, две, десять, двадцать секунд — и понимаю.

Весь дом до самого двора заставлен стульями, полно роз, розы пахнут слишком сильно. И вдруг я ясно отдаю себе отчет во всем случившемся. Отовсюду доносится утомительное жужжание пчел, но постепенно его перестаешь замечать. Человек из нашей деревни остался на ночь. Его лицо по-прежнему не выражает ни радости, ни печали, ни оживления, ни усталости; кажется, он уже много раз присутствовал при чужой смерти. Он просто не уходит и курит. Его не задевают мимолетные пренебрежительные взгляды других наших знакомых, которые приходят, ищут, с кем бы поговорить, и не обращают на него никакого внимания. Наблюдая за ним, я стараюсь

отвлечься от собственных мыслей. Но из головы у меня не выходит вопрос:

— Почему тогда она смотрела на меня, а не на Сусану?

Я думаю об этом в тот момент, когда появляется отец. Он так изменился с шести вечера, что порой кажется мне совсем чужим. Он придвигает стул, садится рядом со мной и начинает говорить сбивчиво и беспорядочно:

— Мануэла никогда никому об этом не рассказывала... Что ж, это ее дело — тайна женщины, никогда не имевшей детей...

Он замолкает и смотрит долгим покорным взглядом на гроб, на свечи, озирается вокруг и говорит снова:

— Она с первого дня заметила, что Сусана воюет... Но я не мог ее выгнать, и Мануэла тоже... Это пришло позже, со временем. Ты всегда отталкивал Мануэлу. Ты был привязан к Сусане. Вот так обстояли дела! Мужчина считает, что ему нужно иметь ребенка, но женщине ребенок необходим вдвойне. Это все произошло внезапно, без умысла. Ей хотелось, чтобы ты увидел недостатки Сусаны... Безднадежный, отчаянный порыв женщины, не имевшей детей! А потом ничего уже нельзя было исправить, и Мануэла всю ночь проплакала над своей страшной ошибкой...

Отец замолчал, и я не знаю, не знаю, что сказать, что делать. Я смотрю по сторонам. Мне хочется найти какой-нибудь выход, но где он? Дверь не годится для этого, и некуда убежать... И я понимаю, что от себя никуда не уйдешь, и понимаю, что никогда уже не заговорю в нашем доме о Сусане, а буду вспоминать только Мануэлу и расспрашивать о ней еще и еще, и вечно помнить, что она была.





ЭСТЕЛА

Не знаю, быть может, смерть и не кажется тяжелой утратой, если смотреть на людей как на бредущую вдали длинную цепочку безликих единиц. С каждым оборотом Земли гибнут миллионы жизней и столько же возникает новых. В этом чудовищном состязании природы со временем нет победителя и нет побежденного. Люди рождаются и умирают, и независимо от этого греет солнце и луна освещает темноту ночи. Одной жизнью больше или меньше — казалось бы, какое это имеет значение? Но в том-то и дело, что жизнь ближнего — это в какой-то мере и наша собственная жизнь, потому что все мы — муравьи из одного муравейника, одинаково измученные непосильным трудом.

Я говорю о ней, прожившей на свете всего девятнадцать лет. Я вспоминаю, как познакомился с ней, когда она поднималась по холму Камачо на табачную плантацию. Она шла, потряхивая золотистыми косами, а мне и сейчас страшно подумать, что стало с этими косами, убранными диким розмарином.

Ну, бог с ней, ее уже нет в живых, и можно о ней забыть. Собственно, я и забыл ее, но, когда видишь, как здесь, в Баррио, взрослеют и превращаются в женщин другие девушки, невольно приходит на память Эстела, которая ясными вечерами в еще теплом после утюжки платье любила посидеть на пороге дома, разглядывая прохожих или с улыбкой следя за возней птиц в листве заброшенного парка. Посмотришь на такую девушку и спешишь отвести взгляд из опасения, что потом начнешь следить за каждым ее движением, приглядываться к выражению ее лица, ловить ее улыбку, которая, вопреки сказанному о времени и смерти, глубоко западает в твое сердце.

Я очень хорошо помню, как все это было. Эстела с семьей жила бок о бок с нами, наши дома разделяла лишь негустая полоса зелени. Достаточно было миновать несколько манговых деревьев, раздвинуть низкие ветви анонов — и взгляд упирался в небольшой, об одно окно, домик, откуда по утрам доносилась нежная, грустная песня, затихавшая лишь после того, как груда выстиранного белья уже была развешана на веревке.

Они приехали в Баррио из деревни поздно вечером, так что никто их и не видел. К нам в дом доносились какие-то приглушенные звуки, тихая возня, топот, но человеческих голосов не было слышно, и только наутро мы увидели, что у нас новые соседи. Последней вышла из дома мать семейства. На ней

было дешевое траурное платье, глаза казались много старше лица. Таким женщинам самой судьбой предназначено всю жизнь молчать и везти на себе тяжкий поз семейных забот. Старшая дочь, худая и невзрачная, видимо, пошла той же, что и мать, дорогой молчаливой покорности. И совсем другой была Эстела: кожа словно отбеленное полотно, косы до пояса, толстые, как золотистые плети репчатого лука. Ее голос вливался в общую песню позднее, и руки ее принимались за работу, когда стирка уже шла полным ходом. Но так продолжалось недолго. Однажды Эстела вернулась домой сияющая: ее приняли на табачную плантацию. С тех пор она перестала стирать чужое белье. Дважды в день она проходила мимо нашего дома, склоняя бледное лицо и опуская глаза в знак приветствия. Часто я наблюдал, как она с трудом взбиралась на вершину холма, такого высокого, что, казалось, бредущие по нему рабочие вознесутся в самое небо, прежде чем засосет их в дверной проем сарая, где целыми днями под дребезжание радиорепродуктора сортируют табачный лист.

Каждый день мы видели идущую мимо окон Эстелу, и каждый день у нас за столом кто-нибудь рассказывал подробности из жизни наших новых соседей. От моей сестры Сенаиды мы узнали, что не так давно у Эстелы умер отец, из-за чего семейство и переселилось в Баррио. Внезапно потеряв кормильца, мать с дочерьми уже не могла обрабатывать арендованную у хозяина землю, и, захоронив на окраине безвестной деревушки дорогие их сердцу останки, они направились в город, в надежде найти посильную работу. Денег, вырученных от продажи двуколки, пары быков и курятника, едва хватило на переезд, взнос за жилье и на питание в первые дни по приезде.

Но теперь в доме появился твердый заработок. Эстела работала на плантации, и старшая сестра одна распевала фальшивым голосом, согнувшись над корытом или развешивая белье на веревках. Они хотели от жизни немногого: иметь крышу над головой, кусок хлеба, самую необходимую одежду и возможность посидеть тихим вечером втроем на пороге собственного дома,— вот и все. О большем они и не помышляли, ведь их прежняя жизнь в заброшенной деревушке протекала не слаще. А здесь, пожалуй, даже было побольше света: в парке уцелел один электрический фонарь, и его слабый свет доходил до самого их домика.

Скромные желания понемногу сбывались. Старшая сестра нашла себе клиентов посOLIDнее, и часто на веревке можно было видеть висящую рядышком, в полном согласии, одежду тех, кто состоял между собой в постоянной вражде: гимнастерку сержанта полиции и брюки судьи Эльпидио, сорочки лавочника дона Факундо и спецовку водителя маршрутного автобуса Эрнесто. Мой брат Даго как-то заметил, что, если бы эти люди вели себя так же, как их вещи на веревке, в городе было бы больше порядка.

Со временем мать Эстелы приобрела термос, и каждое утро, вручив термос с горячим кофе босоногому мальчишке-разносчику, отправляла его продавать кофе шоферам на автобусной стоянке, а вечером принимала выручку. Дело шло неплохо, совсем так, как им хотелось, однако по-прежнему особым вниманием в доме пользовалась Эстела, ее твердый заработок, ее пожелтевшие от табачных листьев пальцы, ее непомерно тонкие ноги, о которых я вам еще ничего не сказал. Ноги Эстелы уж очень не соответствовали ее телу, и мы с первого дня это заметили,

хотя и молчали до той поры, пока однажды в разгоне об Эстеле жених моей сестры не обмолвился, что находит ее красивой. Сестрица не преминула напомнить о ее ногах, и на другой день, за столом, мать объяснила, почему у этой юной, стройной девушки с толстыми золотистыми косами такие странные ноги. В детстве Эстела долго болела малярией, и лечили ее, как водится в деревнях, домашними средствами и отварами, а главное, совсем от другой болезни. Но гораздо более важной нам показалась другая новость, о которой мы узнали также из уст матери, а именно: что у Эстелы остался в деревне жених, что он обещает скоро приехать и что она шлет ему весточки и даже послала в подарок галстук. Действительно, я сам видел этот галстук — красный, с фиолетовыми разводами, упакованный в коробочку.

Сила молодости упорно боролась с застарелым недугом и непосильной работой до той поры, пока усталость не сломила ее. В тот вечер Эстела сидела, как обычно, у дверей своего дома, слушая птичий щебет, и вдруг у нее потемнело в глазах. Привели врача из городской больницы, и врач прописал уйму дорогих лекарств, но и половины их было достаточно, чтобы узнать, чем больна Эстела. Все знали, как ей плохо, но молчали, потому что бедняки стесняются даже своих болезней.

Эстела вернулась к работе на плантации, и всякий раз, когда она, опуская глаза в знак приветствия, проходила мимо нашего дома, я обращал внимание на ее косы с двумя вплетенными в них тряпочками и на ее тяжелый, замедленный усталостью шаг.

Не помню, сколько времени прошло с того вечера. Может, месяцы, а может, недели. Во всяком случае, срок достаточный, чтобы в Баррио произошли

значительные перемены. Зброшенный парк начали приводить в порядок, и судья подал мысль холостыми выстрелами выгнать горластых птиц из города. На перекрестке водрузили щит для объявлений. В селе-нии по ту сторону холма умерли от тифа трое ста-риков, а дочка торговли Росы сбежала из дому с матросом. Лишь соседка Хуана, ковыляя на своих ду-гообразных ногах, по-прежнему целыми днями окола-чивалась в пекарне и уверяла всех, что ее муж Иба-рито непременно к ней вернется. Словом, многое про-изошло за эти отмеренные солнцем однообразные дни, пока не наступил другой вечер, последний, запомнив-шийся мне на всю жизнь. Я уже спал, когда за мной пришли. Высокий молодой крестьянин осторожно по-стучал в дверь и попросил меня поторопиться, так как дело не терпит проволочек. Я умел впрыскивать лекарство, и они вспомнили об этом в трудную ми-нуту. Я пересек освещенное луной патио, под ногами едва слышно шуршала опавшая листва. Из темноты с лаем вынырнул пес, но кто-то тихо, без окрика, успокоил его. Проходя через кухню, я мимоходом об-ратил внимание на огромный глиняный кувшин, оче-видно, совершивший вместе со своими владельцами путешествие из деревни. В столовой со стены на меня глянул светлоглазый мужчина с точно таким же, как у Эстелы, лбом; на столике под портретом белели в глиняной вазе колокольчики. Все это я отмечал мельком, так как шел не останавливаясь, пока не столкнулся с матерью и сестрой Эстелы. Они стояли передо мной оцепеневшие, бессловесные, и только по их глазам я понял, что они хотят от меня одного: узнать, что случилось с их Эстелой. Она сидела тут же в кресле, склонив голову на плечо, прикрыв веки и бессильно откинув на подлокотник руку, как бы

раз навсегда отказавшись бороться и искать свой жизненный путь. Я подумал: нужно быть чужим, чтобы понять, что случилось. Но у меня не хватило сил сказать об этом. Я взял безжизненную руку Эстелы, сделал укол и осторожно опустил руку на подлокотник.

Несколькими минутами позже, когда я выходил из патио, на меня опять залаял пес, но теперь уже никто его не остановил. Из дому донеслись рыдания.

Вот и все, если не считать мелочей, всплывающих всегда после того, как течение времени уносит главное. Оказалось, молодой крестьянин был женихом Эстелы, и приехал он в Баррио как раз в тот злосчастный день — это был день ее рождения, ей исполнилось девятнадцать лет. И еще: по дороге на кладбище порывом ветра у него выбило из-под пиджака галстук — красный, с лиловыми разводами.

Вот я и говорю: быть может, смерть и не кажется тяжелой утратой, если умирает не близкий тебе человек, но все же больно видеть, как у тебя на глазах люди растут, мечтают, девочки становятся взрослыми девушками, и знать, чем все это может кончиться. Поэтому, встретив на улице Баррио девушку, я невольно отвожу глаза, чтобы потом не мучить себя мыслью: что-то случилось с теми девичьими косами, убранными диким розмарином!



ЛОВЕЦ ОМАРОВ

**Н**аша яхта находилась в пяти-шести милях от кубинского берега. Я закинул удочку с кормы, но следил не за поплавком, а за человеком, который сидел на веслах в лодке, стоявшей от нас на расстоянии около трех корделей<sup>1</sup>.

Иной раз уставившись в одну точку, сам не зная почему, пока не спохватишься, что глазеешь как дурень.

Так и я, вдруг поймав себя на том, что смотрю на мужчину в лодке невидящим взором, принялся его разглядывать. Он был довольно далеко от меня, но я заметил, что он маленького роста, сутулый; его короткие

---

<sup>1</sup> Кордель — мера длины, равная примерно 20,5 метра.



руки крепко сжимали весла, а голова была низко опущена. Ажурная тень пальмовой шляпы падала на лицо. Я не мог понять, сгорбился ли он оттого, что ему постоянно приходится сидеть на веслах, в то время как товарищ ловит омаров, или же он был сутулым от природы. Так или иначе, вид у него был довольно унылый — словно тень какая-то. Впрочем, не знаю, может, все это мне только почудилось. И вот тут-то рыбак, недавно присоединившийся к нам, такой же ловец омаров, как и тот, которого я только что рассматривал, произнес у меня за спиной, указывая на гребца:

— Этот тип как-то сказал: «У кого нет жены, тот пусть остается на борту», — и, весело посвистывая, отправился домой, а там он узнал, что жена его ушла с другим.

Рыбак громко захохотал; смеялась и вся команда. Я подумал, что, когда нет ветра, на море слышно каждое слово, и сказал об этом, с беспокойством оглянувшись на гребца, но тот по-прежнему сидел низко склонив голову и медленно двигая веслами.

Вскоре начался бриз, и мы подняли якорь, намереваясь возвратиться в порт.

Но слова рыбака запали всем в душу, и мы стали толковать об изменах и о том, что обманутый муж должен либо убить жену, либо уж поступить так, как поступил один мужчина: застав жену с любовником, он потребовал с него песо, а потом ушел из дома, хотя прожил с женой десять лет, пусть она знает: чего стоит женщина, которая отдается первому встречному. Затем хозяин яхты заговорил о том, какое вкусное мясо у морской коровы, на которую запрещено охотиться, и каких трудов стоит убить ее, даром что беззащитная.

Был уже вечер, когда мы высадились на берег. Я отправился в бар. Деревянное здание его покачивалось на волнах, и посетителей доставляли туда на паруснике. Я принялся смотреть на чаек, на корабли, на водяных паучков, скользивших по поверхности воды, и вдруг снова увидел лодку и силуэт сидящего на веслах гребца. Он находился от меня на таком же расстоянии, что и днем, но сейчас мне захотелось получше разглядеть выражение его лица и глаз. Неожиданно рыбак сложил весла и замер. Я решил, что он ищет, где бы пристать к берегу, но скоро понял: он слушает музыку, которая доносилась из бара,— звуки песни наполняли вечерний воздух:

Зачем моряку жениться —  
Жена моряку не нужна;  
Пока он плавает в море,  
Ему изменяет жена<sup>1</sup>.

Я хотел остановить пластинку, но не успел: пока я искал рычажок, рыбак уже повернул лодку и снова взялся за весла.

Вскоре мы возвратились в поселок. Вечером, сидя рядом со мной за столом, хозяин яхты спросил:

— Что, не понравился вам рассказ?

Я не сразу понял, о чем спрашивает меня хозяин, но он тут же пояснил:

— Я говорю о рыбаке, от которого ушла жена.

— Я его не знаю,— ответил я.

Хозяин, помолчав минуту, продолжал:

— Много раз слышал я эту историю, и всегда она была мне не по душе. Люди судачат, потому что жизнь тяжела, и мы, не осмеливаясь говорить о тех,

---

<sup>1</sup> Перевод М. Самаева.

кто выше нас, говорим \*все что попало о тех, кто ниже.

Я не понял, что имеет в виду хозяин; тогда он попытался объяснить:

— Видите ли, много рыбаков занимается ловлей омаров. Иногда им приходится подолгу находиться в море, жить на борту парусника, где нет другой каюты, кроме голой палубы, и другой крыши, кроме высоких облаков в ночном небе. С восходом солнца все выглядит иначе, но горькая жизнь рыбака не меняется. На каждой лодке — два человека: один гребет, другой, лежа на носу лодки и свесив голову за борт, ловит сетью омаров. И так день за днем — будь то ветер или штиль, дождь или ведро, и длится это всю жизнь, которая неизвестно когда кончится, понимаете?

— Да.

— А когда парусник возвращается в порт, рыбаки, забравшись в трюм, где кишат омары, вытаскивают их, стоя по пояс, а то и по грудь в воде, и даже мешки на ногах не защищают от укусов клешней. Что остается тогда человеку? Заработанные им деньги. За омаров платят хорошо, но завтра нужно снова выходить в море, и рыбак не может даже поехать в Гавану немного развлечься, как бы ему хотелось. Тогда рыбаки идут в бар послушать музыку, выпить бутылку вина и встретиться с женщиной, понимаете? И так всю жизнь.

— Понимаю, хозяин.

— Я говорю обо всех рыбаках, но имею в виду одного, того, что сегодня утром рассказывал на яхте о несчастном гребце, помните? Этот человек не может сказать, что ему не нравится его жизнь, потому что другой он не видел. Но иногда ему становится невмо-

готу и хочется на ком-нибудь сорвать зло, но на ком, он не знает. Вот он и отводит душу, издевается над беднягой, у которого сманили жену...

Хозяин умолк, попросил у меня сигару и, не дождавись моего ответа, заговорил снова:

— Я знаю парня, у которого увели жену. Это уже не первый случай. Он такой же ловец омаров, как и все, но у него заячья губа и он маленького роста. Такой человек прячет от всех свою губу и свою душу... Понимаете?

— Да, на душе у него, верно, не весело.

— Весело или нет, но он человек, а у всех людей бывают радостные минуты,— например, когда они влюбляются; но если у человека такое лицо и живет он замкнуто,— он обычно любит молча. Другие не скрывают своих чувств. Есть у них в жизни что то хорошее и надежное, вот они и живут этим, пока живет. А у некоторых и этого нет, и наш рыбак — один из таких; они полагают, что если и суждено им многое испытать в жизни, то все же по-настоящему никто не ответит на их любовь, понимаете? Но вот этот рыбак как-то отправился в саванны и вернулся оттуда очень довольный. Так повторялось много раз, пока однажды вечером он ни привёл женщину, которая шла следом за ним, а он оглядывался по сторонам, будто взял чужое. Женщина шла босиком, была она тощая, невзрачная, безгрудая. Но такой мужчина, как он, не мог просить большего: достаточно и того, что она женщина. В саваннах живут плохо. Люди там изможденные, низкорослые, но проживут немного у моря и, глядишь, оперятся. Так и эта женщина приобрела постепенно все, чего ей недоставало. Она уже не ходила босая — едва рыбак высаживался на берег, он сразу же отправлялся за подарками для нее.

И так его разбирало желание поскорее что-нибудь достать и принести ей, что он радовался и улыбался, хотя ботинки, которые он обувал лишь по праздникам, стирали ему в кровь ноги. Понимаете? Он жил только для нее, а потом настало время, когда он ходил сам не свой из-за нее и сынишки, который должен был появиться на свет и которого он ждал с трепетом, боясь, как бы заячья губа не досталась в наследство малышу. Тяжелое это было время для него; бывало, вся ловля шла прахом, оттого что он переставал грести, и лодку уносило течением с хорошего места. Оно и не удивительно — человек занят своими мыслями, хоть у него и дел по горло, и целый день он не выпускает весел из рук. Наконец жена родила ему сына — хорошего, здорового мальчика; больше всего отец радовался, что не наградил сына заячьей губой.

Хозяин помолчал, снял с сигары бумажное колечко и снова заговорил:

— Понимаете? Она по крайней мере должна быть благодарна, не правда ли? Кроме того, у нее был сын, чего же ей еще недоставало? Как вы думаете?

Я не понял, к чему клонит хозяин. Казалось, он ждал, что я скажу за него то, что он и сам хорошо знал. Но я молчал, и тогда он выпалил одним духом:

— А эта заячья губа? Можно долго целовать мужа из благодарности, но на свете много мужчин. Приходит день, когда женщину тянет к другому. И вот, приятель, такой день настал, и появился новый мужчина — юноша с северного берега; кровь кипела в его жилах, и бог создал его самым красивым парнем в порту. Понимаете? Он поселился напротив их дома, ему никогда не приходилось выходить в море, потому что у него не было в этом нужды, а она имела теперь все, чего ей недоставало прежде. Она

стала женщиной, настоящей женщиной, понимаете? С грудным младенцем она ушла к нему, это было как раз в ту ночь, когда рыбак с заячьей губой сказал, высаживаясь на берег: «У кого нет жены, тот пусть остается на борту».

— И что же с ним случилось, хозяин?

— Ничего, некоторое время он не приходил в порт, а потом все же появился и провел в лодке всю ночь. Что ему еще оставалось делать? Он бы рад не возвращаться, да голод пригнал его. Правда, как-то ночью в баре он поклялся, что пришел только затем, чтобы заработать немного денег, а потом уйти; если же это ему не удастся, то один бог знает, что будет.

— И он копит деньги?

— Да.

— А он не врет?

— Нет, потому что я сам храню его деньги и, когда могу, прибавляю ему несколько песо.

— Из жалости?

— Нет, конечно.

И, молча посмотрев на синий дым сигары, хозяин понизил голос:

— Не из жалости, а именно из-за того, что один бог знает, что будет.

Он обвел взглядом уснувший порт,— только в баре еще веселились рыбаки,— и прибавил:

— Представляете себе, как ему трудно работать среди тех, кто его постоянно травит?

Больше мы не разговаривали в ту ночь. Рассказ хозяина потряс меня, я почувствовал, будто у меня вынули душу, будто я потерял что-го.

Я дошел уже до своей комнаты, собираясь лечь спать, как вдруг увидел рыбака, который подшучивал

над человеком с заячьей губой. Я окликнул его. Он шел босиком, со связкой канатов на плече. Бросив веревки на землю, он спросил, чего я хочу.

— Поговорить, если вы не спешите,— ответил я.

— Нет, не спешу.

Я не знал, как завести разговор, с чего начать, и в этот момент на берегу вновь послышалась песня:

Зачем моряку жениться —  
Жена моряку не нужна...

— Слышите,— сказал рыбак,— опять завели ту же пластинку! Поди двадцатый раз за сегодня... Ха! При таком-то штиле на море... Как вам это понравится, дружище?

— Что вы хотите этим сказать?

— Ха! — продолжал он хитро и не без задней мысли.— Ведь вы сами сказали: когда нет ветра, на море слышно каждое слово. Представляете... Тьма кромешная, тишина вокруг, и поет эта пластиночка... Ха! Уж наверно этот тип в лодке слышит ее!

Он засмеялся. Казалось, ему хочется заразить меня своим злорадством, которое, видимо, облегчало ему жизнь, но я испытывал только чувство жалости к нему, к его жизни и к его душе, черствой и забитой, как жители саванн. Наконец он неловко попрощался со мной и, взвалив на плечо связку веревок, исчез во мраке.

Не знаю, заводили ли еще раз эту пластинку: я уснул в ту ночь, как обычно накрыв голову подушкой. Под утро меня разбудил какой-то шум: я открыл окно и выглянул. Из Управления начальника порта прислали двух моряков в бар. Я увидел их, когда зажгли газолиновый фонарь, осветивший все вокруг. Через открытую дверь я заметил свисающую с

потолка веревку, которую кто-то поспешил обрезать, патефон и щуплое тело человека — на его шее болтался другой конец веревки.

Несколько дней в порту только и говорили, что о самоубийце и о том, каким он был хорошим ловцом омаров. Но когда прошло время и все успокоились и снова стали рассказывать разные истории, всегда кто-нибудь начинал теми же словами: «Один рыбак сказал как-то.. у кого нет жены...» Конечно, нельзя всю жизнь оплакивать человека. Мертвые — вроде рыбаков, уходящих в море: с каждой минутой они уходят все дальше от нас, становятся все меньше и, наконец, совсем исчезают из виду. Все остальное — случайность: и циничная песенка и человек, рассказавший печальную историю слишком близко от ловца омаров, у которого сердце уже давно наполовину умерло.





ЛЕОНЕЛА

**О**х, и чудной же был этот старик Балтасар и как здорово он рассказывал всякие истории! Я говорю не о нынешних временах, а о давно прошедших. Потому что в наши дни в моей деревне все только и знают что повторять одно и то же. О тех временах и пойдет мой рассказ, хотя наш алькальд до сих пор еще переизбирается и уже состарился на своем посту, в то время как в других местах молодые люди постепенно заняли места стариков и теперь сами, утомившись, размеренным шагом приближаются к смерти.

Так вот, я говорю о Балтасаре де лос Пинос. Высокий старик с ровно подстриженной бородой, такой же седой, как ветви двенадцатилетнего дерева хука-

ро, он был чем-то сродни дереву или даже земле. Однако больше всего он походил на человека, и, хоть его и ославили сумасшедшим, нередко его слова больно задевали людей.

Это было в те времена, когда на реке уже стояли три моста, построенные тремя сменившимися друг друга алькальдами. В те времена я впервые услышал изречение Балтасара. «В каждом человеке,— сказал он,— сидит и ангелочек и дикая собака. Все дело в том, удержит ли ангелочек на поводке злокозненную собаку или собака слопает ангелочка в одну из тех минут, когда человека одолевает какое-нибудь сильное искушение».

Эти слова он изрек после истории с Леонелой. Но сперва надо рассказать о том, как Леонелу привезли под вечер для судебного разбирательства, как машина сахарного завода остановилась на станции и сельские жандармы вынуждены были, ругаясь и размахивая саблями, разогнать зевак. Среди общего шума, подобно колокольному звону, выделялся голос Балтасара:

— Отойдите, чего глаза пялите? Ведь тело-то почти голое, отойдите!

И он стал помогать жандармам, не глядя на Леонелу, уже мертвую, с полузакрытыми глазами и... да простит мне бог! — с губами до сих пор сложенными для поцелуя.

Потом Балтасар собственными руками накрыл труп простыней, которую пожертвовала какая-то добрая душа. А дальше Леонела уже стала предметом обследования судьи и врача, и Балтасар, еще более возбужденный, чем обычно, направился в деревню, спасти доброе имя покойной Леонелы. Громы и молнии метал он против тех, кто уже начал о ней судачить.

— Свинья вы,— сказал он,— она ведь горная голубка, раненная в самое сердце. Пусть только не вздумают звать меня в свидетели против нее. Здесь найдется не меньше сорока почтенных женщин, но хоть бы они не узнали греха до того самого часа, когда упадет на них последняя горсть земли, ни одна не будет для меня такой чистой голубкой, какой была Леонела, хотя она, имея мужа, и любила другого.

Все дело в том, что старик хорошо знал Леонелу. Однажды под вечер, незадолго до своей смерти, она переступила порог его дома и в отчаянии обратилась к нему за советом:

— Балтасар, я не люблю мужа. Что мне делать? Вернулся Хулиан.

Народ болтал о том, что бесстыжий Балтасар дал ей непристойный совет, что он говорил с ней так, будто она не женщина, а мужчина, он якобы сказал ей:

— Уходи от мужа, ведь два раза в жизни не живут.

Но это люди снова соврали, потому что каждое слово старика приходилось им не по нутру. Все было враньем. А правдой было то, что сперва лицо старика осветилось выражением кроткой доброты, а потом он сказал ей:

— Ай, голубка, зная тебя, я ждал этого; мне уже известно, что Хулиан вернулся.

И больше он ей ничего не сказал. Леонела, раскрыв свои большие и ясные черные глаза, ждала, надеясь хоть что-нибудь еще услышать, но старик повернулся, вышел к себе на участок и вскоре скрылся в зарослях юкки.

Вот он потом и твердил как одержимый:

— Понятно, каждому теперь не терпится поговорить, а где вы были раньше? Почему вы ничего не говорили, когда Леонела, в которой кипела молодая

кровь, досталась старику? Ему удалось купить ее за сахарный тростник и скотину. У этого старого мужа давно уж такие же потухшие глаза, как у меня. Неужели ему никогда не приходило в голову, что молодая женщина может обсадить свой дом лилиями лишь тогда, когда в ее сердце живет молодая любовь.

А все дело в том, что в ранчо Леонелы появление старого богача было подобно свежему ветру в палящий знойный день. Но не для нее, не для Леонелы, а для ее родных — ее братьев-картежников и для отца их, старика неудачника, как он обычно говорил про себя, хотя никогда не роптал на свою судьбу. Но все-таки он был отцом и прожил долгую жизнь, и потому, когда старик из Лос Паралес стал наведываться сюда на своей лоснящейся лошадке, отец Леонелы сообразил, что человек не станет шесть раз подряд приходить в дом, если его не притягивает здесь какая-нибудь женщина. А единственной женщиной, живущей в этом доме, была пятнадцатилетняя Леонела. И вот тогда-то и подул свежий ветер. Но Леонела ни о чем не догадывалась. Сердце ее было полно Хулианом. Каждый вечер появлялась в конце аллеи машина ремонтников, а в ней Хулиан, и Леонела, подымаясь на цыпочки, выглядывала из-за кустарника, чтобы сказать «до свидания» всем, но относилось это прощание только к нему.

И вот однажды вечером, когда ремонтники чинили участок дороги по ту сторону аллеи, Хулиан, весь взмыленный, с прилипшими ко лбу почерневшими волосами, подошел к дому.

— Не дадите ли мне немного воды, девушка?

Она ничего не ответила, но руки ее похолодели, и в то время, как она наливала ему воду из кувшина, он снова заговорил:

— Это вы нам всегда говорите «до свидания», когда мы проезжаем?

Улыбнувшись, она ответила:

— Да, здесь почти никто никогда не проезжает, я и говорю «до свидания», чтоб не отвыкнуть.

И вот они уже смотрят друг на друга, и он понимает: не потому, что боится потерять привычку, говорит она каждый раз «до свидания», а только потому, что хочет это сказать ему одному.

Дальше все пошло, как положено. Он приносил ей всякие безделушки, купленные в лавке завода; однажды он принес дешевую стеклянную брошку, на которой было написано: Леонела. Она не находила слов от восторга, а он спросил ее:

— У тебя нет жениха, Леонела?

— Нет.

— Ну так вот, я тебя люблю.

Он проговорил это очень робко, как бы стесняясь своих слов, а потом они долго смотрели друг на друга, и одной своей улыбкой и покрасневшимся личиком она дала ему ответ.

Вот что было перед тем, как появился старик из Лос Паралес. Но это не все: они должны были расстаться на некоторое время. Сахарный завод посылал ремонтников на новый участок. Хулиан примчался сказать ей об этом.

— Леонела, ты ведь понимаешь, ремонтные работы никогда не производятся на одном месте. Кончают здесь, и начинают там. Сейчас заводу необходимо отремонтировать дорогу ближе к побережью. Там придется поработать несколько месяцев, все это время я не буду тебя видеть.

— Но ты вернешься, Хулиан?

— Зачем же я уйду, как не затем, чтобы вер-

путься? Ты меня жди; когда я вернусь, у меня будут уже кое-какие деньжата, ведь там их не на что тратить. Я вернусь, поговорю с твоим отцом,— и, улыбаясь, добавил: — А там посмотрим, как через годик пойдут дела, когда будет свой клочок земли, дом, жена...

И вот со всем этим и со стеклянной брошкой осталась в те дни Леонела. Но скоро началась эта история с женихом из Лос Паралес.

— Каждый рождается под своей звездой,— пытался отец намеками ускорить ход событий,— моя была несчастливой, ну что ж, может быть, моим детям больше повезет.

Но Леонела не понимала слов отца, которые он неизменно повторял, глядя вслед облаку пыли, поднятому золотистой лошадкой старика из Лос Паралес.

Она не понимала, но ей пришлось понять, потому что старик из Лос Паралес, столкнувшись с ней однажды в дверях, загородил ей дорогу и сказал хриплым голосом:

— Ты мне очень нравишься, девушка. Я женюсь на тебе!

Ужас охватил бедняжку. Он всегда был в ее представлении человеком значительным и почтенным. И вдруг она увидела его лицо, его глаза, бесстыдно и нагло шарившие по ней. Не помня себя она убежала в комнату и разразилась слезами. Тут только она поняла все, что раньше было ей непонятно. Сперва эта голубая ваза — подарок новоиспеченного жениха, а потом ее старшего брата приняли на работу в Лос Паралес, невзирая на то, что он картежник. Но это было еще не самым страшным. О самом страшном кричал теперь Балтасар, бегая как безумный по деревне.

«Всех она любила, бедная голубка, и даже тех, кто этого не заслуживал: отца, который притворился

умирающим, лишь бы разжалобить ее слезами, и братьев,— они совсем загрызли ее, пока не заставили покориться!»

Вот так все это и случилось. Два месяца шла глухая борьба в доме. Она — единственная женщина в семье, и бесконечные слова, которыми обхаживают ее, подчиняют, укрощают:

— И моя дочь не хочет понять, что я ей добра желаю! Она меня в гроб вгонит!

— Хотел бы я посмотреть, как этот Хулиан сможет выкупить заложенное имущество!

— Голодранец — ремонтный рабочий!

— И что потом? Моя сестра замужем за ремонтником, а отцу придется просить подаяния!

Но она продолжала сопротивляться, скрывая слезы,— она боялась,— они догадаются, что почва уходит у нее из-под ног. Все это продолжалось до тех пор, пока, как назвал это Балтасар, отец не начал разыгрывать свою комедию.

«Он заболел, он стал кричать, что умирает, каналья этакая, уверенный, что дочь его пожалеет».

В конце концов он действительно заболел. Почти месяц лечили его и врач и знахарь, а братья, воспользовавшись этим, кричали ей:

— Моли бога, чтоб он не умер! Это ты во всем виновата.

И Леонела,— изнемогая под тяжестью свалившихся на нее забот, обезумевшая от тревоги, тоски по любимому, нестерпимого желания выплакаться, освободиться от всего,— в припадке отчаяния уступила:

— Я согласна! Делайте, что хотите, я согласна!

А потом уже было все остальное. Свадьба без большого шума. И дом из кедрового и красного дерева на территории сахарного завода в Лос Паралес.

— Я не знаю, как проводила она дни и ночи. Да это и ни к чему. Достаточно посмотреть на морщинку, появившуюся у нее на лбу на третий день после свадьбы, эту морщинку и смерть не смогла разглядеть. А ведь каждый скажет, что не было у нас женщины с таким чистым и ясным лбом, как у нее!

Это была сущая правда. Все, что говорил Балтасар,— касалось ли это прошлого, настоящего или будущего,— все всегда было правдой. И о том, что будет, он тоже правильно сказал:

— Подождите, вот вернется Хулиан. В нем тоже сидят и собака и ангелок.

Два месяца прошло с тех пор, как Леонела вышла замуж. Как-то раз, когда муж ее сидел и подсчитывал свои деньги, она услышала сквозь шум ночи гул машины ремонтников. Он медленно нарастал, заглушая скрежетом металла пение цикад.

Леонела подняла голову. Все ее существо обратилось в слух; она слушала, как все громче и громче, заполняя пространство, ревет мотор. И вот машина въехала на территорию сахарного завода. Больше ничего не произошло. Муж продолжал считать свои деньги, и Леонела опустила голову.

— Я знаю, что она готова была устоять,— говорил Балтасар.— Я ведь помнил ее маленькой, относился к ней, как к своему ребенку, вот она три раза и приходила ко мне.

— Балтасар, что мне делать? Хулиан велел передать мне, что он знает, что меня принудили,— молила она.

— Так лучше, Леонела.

— Но что же мне теперь делать? Они строят дорогу прямо перед моим домом. Они работают день и ночь. Я слышала, как он ночью поет вместе с дру-



гими. Он и поет-то лишь затем, чтобы я его слышала.

— Как я могу знать, что тебе надо делать, Леонила, если они разбили твою жизнь?

Дорогу рабочие должны были закончить до того, как начнется уборка тростника. Товарищи по работе, как и все, кто не знал любви, слегка подтрунивали над несчастьем Хулиана, видя, как он при каждом ударе по земле подымает голову и впивается взглядом в дом. Из-за этих шуточек и начались потом злые сплетни и пересуды.

И вот наступила ночь их единственного поцелуя. Хулиан дерзко перепрыгнул через изгородь и направился через двор к дому. Она услышала его шаги, она угадала, что это он. К сердцу подкатило воспоминание об аромате той аллеи, о тех вечерах, когда она говорила «до свидания»; она поднялась, пошла на кухню и открыла дверь, и они очутились лицом к лицу, и слились в поцелуе, и раздались выстрелы, и Хулиан, поддерживая ее, услышал только два слова, и больше ничего:

— Ой, Хулиан!

Не выпуская из рук ружья, старик из Лос Паралес выбежал на дорогу. Ему удалось скрыться — никто из ремонтных рабочих не отважился его остановить. Тем временем Хулиан, обезумевший от горя, понес ее на завод, до которого было ближе, чем до деревни.

Все, что было дальше, многие люди из нашей деревни хорошо помнят. И как ее на другое утро привезли на машине сахарного завода, и толпы любопытных, и как старик Балтасар умолял жандармов не смотреть на нее, и как я увидел ее, уже мертвую, с полузакрытыми глазами и... да простит мне бог! — с губами, до сих пор сложенными для поцелуя!



УГОЛЬЩИКИ

**В**се мы в нашем ранчо знали, что стряслось с Фиденсио: лихорадка. Иначе и быть не могло. Рапо или поздно, а так должно было случиться. Нелегкое это дело пробираться по топким болотам, да еще со связкой бревен на горбу! Навьючишься, как мул, наляжешь лбом на ляжку, руками тянешь вниз конец веревки, которой увязана кладь,— и бредешь... Такое никому не проходит даром. А тут еще налетают москиты, и страшная лихорадка валит человека с ног.

Так случилось и с Фиденсио. Так случилось со всеми нами. Наглотавшись хины, мы снова взваливали

на спицу стволы и снова прорубали просеки в непроходимых зарослях красного мангле<sup>1</sup>.

Другие справлялись с болезнью, опять становились на ноги. Но Фиденсио уже был не тот. Он состарился, промышляя выжигом угля. Его когда-то каштановые волосы поредели и стали совсем белыми. А проклятая лихорадка свалила его чуть не десятый раз за последние два года. И не похоже было, чтобы он мог выздороветь.

— Мне лучше,— повторял без конца Фиденсио.

Но мы-то видели, как его трясло: даже доски, на которых он спал, скрипели.

— Скоро тебе полегчает, и ты снова возьмешься за дело,— утешал его Исленьо.

Мы разговаривали, накрывшись пологам от москитов. Над нами кружился черный жужжащий рой.

Однако Фиденсио не становилось лучше, и когда у Мартинеса не осталось больше ни одной таблетки хинина, он сказал, положив руку на плечо больному:

— Придется тебе топать отсюда...

Желтые глаза Фиденсио сверкнули.

— Разве я жалуюсь?

Мартинес попытался улыбнуться.

— Хорошо, старина, ты сам скажешь когда.

И они посмотрели друг другу в глаза. Сидя по другую сторону очага, я поглядывал на них сквозь стелющийся понизу дым.

Но вот вдали прозвучал фотуту<sup>2</sup> Андреса. Наступило время завтрака: замешанная на воде лепешка и ломтик жареного сала. Посредине — большая кон-

---

<sup>1</sup> Мангле — кустарник высотой в три-четыре метра с длинными толстыми стволами.

<sup>2</sup> Фотуту — большой деревянный рог.

сервная банка с подсоленной водой. Время наверняка подошло к девяти утра. Андрес был точен как часы. Быстро окончив завтрак, мы отправились в путь. Впереди шел Мартинес, затем Исленьо, за ним плелся Фиденсио и последним я. Мы ступали по болоту, с трудом вытаскивая ноги из вязкой тины.

Случилось то, чего я боялся. Фиденсио брел, шатаясь как пьяный, хотя водки у нас с собой не было: в то утро мы вышли с твердым намерением присмотреть яны<sup>1</sup> для костра, который весь целиком будет принадлежать нам, только нам пятерым. И вдруг Фиденсио упал лицом вниз. Я бросился к нему. Мартинес тоже. Все лицо Фиденсио было в грязи, мы обтерли ему бороду, промыли глаза. Он тяжело хрипел, но не жаловался.

Когда мы перенесли его в хижину и приступ начал утихать, Мартинес твердо сказал:

— Завтра Антонио возьмет тебя с собой.

Фиденсио не произнес ни слова, он повернулся на бок, сплюнул и посмотрел куда-то вдаль, поверх зарослей мангле. По правде сказать, Фиденсио ненавидел эту чашу, но у него было три внука, и их надо было кормить. На носилках мы донесли Фиденсио до плота. Нужно было подняться вверх по каналу. Как и мы, Фиденсио знал весь канал как свои пять пальцев. На протяжении полукилометра он сохранял одну и ту же глубину в четыре кварталы и ширину в полторы вары. Все мы знали канал вдоль и поперек, будто он был проложен нашими руками.

Я направлял плот шестом и время от времени пытался утешить Фиденсио.

— Мартинес сохранит за тобой твою долю.

---

<sup>1</sup> Яны — колючее карликовое дерево.

— Но вместо меня возьмут другого.

— Ладно, пусть другой, но только на половинном заработке.

Фиденсио улыбнулся, и было странно видеть эту улыбку на его восковом лице. Лихорадка продолжала трясти его, словно погремушку. Пекло как в аду, и уже начали появляться москиты. Два часа я работал шестом, и пот, размывая сажу, струйками стекал по моей груди до самого живота. Наконец мы вышли в море и, отыскав причал, пристали к берегу. Первым нас встретил Эрнесто, за ним появилась и его жена. Он — толстый, маленький, она — худая, длинная.

— Раненый? — спросил Эрнесто.

— Лихорадка.

— Несите его, у меня есть лимоны, — сказала жена Эрнесто, и мы втроем потащили больного в небольшой погребок.

Около двух часов дня в море показалась «Амалия». Это было ветхое парусное суденышко. При малейшем ветре оно скрипело, словно дверь на несмазанных петлях. «Амалия» принадлежала хозяину участка и была единственным средством сообщения с портом. Случись тебе привезти на берег тяжелораненого товарища сразу после отплытия «Амалии», лучше уж пусти ему пулю в лоб, если ты настоящий друг.

Наконец «Амалия» причалила. Я отошел с лоцманом в сторону. Мне не хотелось говорить при Фиденсио.

— Со следующим рейсом привези какого-нибудь парня.

Он кивнул головой.

— Но, — добавил я, — придется найти такого, кто согласится на половину заработка.

— Ладно.

— Да поищи повыносливее. Не привози неженок. Я задумался: «Да, Фиденсио сплоховал! Фиденсио, который проработал на Кайо тридцать лет».

С грустными мыслями вернулся я на плот и, напавив его в канал, снова взялся за шест.

Было начало июля, а это значило, что в ближайшие три месяца нам предстоит сущее мучение. Появится табапо, мелкий слепень, который обычно жалит только уши. Он вылетает из зарослей, поднимается все выше, выше, подбирается к ушам и жалит их так, что они превращаются в багровые пузыри. Еще страшнее были кораси, которые заставляли нас натягивать двойную мешковину на наши походные кровати. Они, словно шпагу, вонзают в тело свое длинное жало. Бывает, двадцать — сорок кораси садут на плечо, — тут их надо сразу прихлопнуть, а не то все плечо залется кровью, словно у человека вены вскрыли. В этот момент хочется завывать от боли, хочется, чтобы тебя кто-нибудь стукнул, все равно чем — рукой или топором. Бешенство не утихает, хотя бы ты раздавил десятки насекомых на лбу или на шее. Но иногда мы не выдерживали. Однажды мы оставили гореть ярким пламенем костер на пятьсот связок и, забравшись по шею в воду, смотрели, как гибнет то, что стоило нам тридцати дней каторжного труда. Увязая ногами в тине, мы стояли в воде по самый подбородок, а над нами плотным облаком, таким плотным, что хоть режь его ножом, кружились кораси. Горько было видеть, как сгорает то, что досталось нам слишком дорогой ценой. Но тогда мы только начали заниматься выжигом угля и были еще неженками. Теперь другое дело. За шесть месяцев

каждый из нас болел лихорадкой не меньше девяти раз.

В тот год, о котором я рассказываю, мы выжгли много угля. А какое дерево мы сжигали! Стукнешь топором по такому дереву, и оно звенит, будто серебряный колокол. А как оно сверкало! Словно сахарная глазурь! Однако, несмотря на это, не все шло у нас гладко.

Главным среди нас всегда бывал тот, чью власть признавали все, и признавали добровольно. Он должен уметь лучше всех таскать тяжести, ходить по трясине не оступаясь, глубже всех вонзать топор в ствол, раньше всех вскакивать на гребень неожиданно вспыхнувшего костра. Вот каким должен быть наш главарь. И Мартинес был таким, собранный и сильный, словно сжатый кулак. Я всегда буду помнить его внимательные, умные глаза, его орлиный нос над густой черной бородой.

Когда плот подошел к ранчо, я услышал, как Мартинес — в который уже раз — повествовал о своей беседе с хозяином.

— Я и говорю ему: дон Бруно, вот уже двадцать лет, как я работаю на вашем участке. Пора хоть один костер из яны отдать в нашу пользу. Хозяин оглядел меня с головы до ног и выплюнул окурочек сигары.

— Милый мой, а ты знаешь, сколько стоит костер из яны?

— Спросите на Кайо, знаю я или нет.

— Таким костерчиком, Мартинес, ты заработаешь больше, чем я, — сказал он, подойдя ко мне вплотную.

— Я бы уж сложил костер на тысячу связок.

— Да ты собираешься разорить меня, приятель.

Мартинес остановился. Он взял кувшин с водкой и сделал такой глоток, словно это была простая вода. Повесив кувшин на ветку дерева хукаро, он продолжал:

— Тогда я взял шляпу, взглянул на дверь и говорю: «Что ж, если вы не согласны, я могу уйти с участка».

Разумеется, старик согласился. Где ему сейчас найти таких угольщиков? Вот почему мы снова оказались на Кайо.

— Пора уже присматривать яны,— заметил Исленьо.

— Говорят, здесь их полно,— откликнулся Андрес.— За чем же дело стало?

На следующий день мы распаковали инструменты и принялись за работу.

Лезвия топоров вонзались в стволы, которые содрогались от каждого удара. Падали пожухлые листья, и раненое дерево с глухим стоном рушилось на землю. Сок множества деревьев обагрил наши топоры. Затихал один удар, и тут же раздавался другой, сухой и безжалостный. Затем все умолкало. Шум падающих листьев замирал, как внезапно прекратившийся ливень. Земля, воздух, водка в наших стаканах — все насыщено резким устойчивым запахом свежесрубленного дерева. Нас пятерых волнует только одна мысль — наш собственный костер.

Андрес каждый раз, когда мы встречались,— я шел за стволами яны, а он уже нес свои к месту костра,— повторял одно и то же:

— Смотри, сколько яны!

— Только бы все ладно было...— отвечал я.

И мы без передышки продолжали работать. В двенадцать часов ночи началось настоящее сраже-



ние — дело близилось к концу, наступил самый важный момент, который требует от угольщика всех знаний и сил. Положить один ствол на другой, пригнать их вплотную друг к другу, сверху положить еще и еще, пока этот штабель свежего дерева не станет высоким и прочным, словно каменная гора. Впрочем, о горе говорить еще рано. У нас уже было заготовлено несколько сотен стволов яны, для последнего костра, когда Андрес сказал:

— Сегодня вторник.

— Завтра придет «Амалия», — пояснил Исленьо. Мартинес точил мачете и, не отрывая глаз от лезвия, сказал:

— Завтра, Антонио.

Я взглянул на канал, пытаюсь рассмотреть плот, но из зарослей торчал только кончик шеста.

— Ладно, завтра, — сказал я и проскользнул под сетку от москитов.

На рассвете я опять плыл по каналу. Над моей головой с криком посилились нырки; внизу подо мной сверкала спокойная гладь воды, а вдоль берегов тянулись густые заросли мангле, в толстых корнях которых то тут, то там прятались красные, как кровь, рачки!

Я рассчитывал быть в таверне около полудня. С моря поднялся сильный ветер. Беспощадно палило солнце. В таверне я застал толстого Эрнесто и его тощую жену. Я выпил стаканчик и сел на берегу, глядя на море в ожидании «Амалии». Она показалась в два часа дня. Дул попутный ветер. Старые залатанные паруса раздувались, нос бороздил волны.

Через полчаса судно пришвартовалось, и я увидел на нем какого-то парня. Он показался мне мальчишкой. Не по годам рослым мальчишкой. Это был

блондин с едва пробивающимися усиками. За ним появился хозяин парусника.

— Эй, бездельник, спишь после обеда! — крикнул он мне.

— Неплохо бы. А то приходится тебя ждать, — ответил я. — Твоя посуда хотя кого из терпения выведет.

— Меня не выводит. — И, все еще улыбаясь, он соскочил на пристань.

Следом сошел парень с усиками. Я разглядел его очень хорошо. Он был выше всех нас, на вид ему было года двадцать четыре, а может, и двадцать шесть. Парень казался сильным. У него была мускулистая шея, беспокойные глаза, а кожа белая, как молоко. Мне такие люди не нравятся.

Хозяин парусника протянул мне руку.

— Жиреешь, разбойник, а?

— Ах ты... — начал я, но он тут же прервал меня:

— Вот вам новый парень.

— Этот?

— Его послал дон Бруно.

— Но это же молокосос, — возразил я, не в силах скрыть недовольство.

Юноша спокойно взглянул на меня. Он хотел что-то сказать, но, видно, раздумал и перевел глаза на хозяина судна.

— Ну, какой же это молокосос, — торопливо возразил тот.

— Именно так.

— Потом сам увидишь.

— А я и сейчас вижу.

Я повернулся к мальчишке.

— Ты пришел на место Фиденсио?

— Да.

— А знаешь ли ты, что такое настоящий лес?  
А жечь уголь ты умеешь?

— Нет, но научусь.

Меня просто смех разобрал, и руки зачесалисьсыпать ему как следует... Подумать только! Он научится! С таким беленьким личиком! Только жечь уголь — это ему не в куклы играть!

— Как же,— сказал я,— научишься, если москиты не сожрут тебя раньше...

Он ничего не ответил и сунул руку в карман в поисках сигареты. Мы оба помолчали. Я подумал о том, какое лицо будет у Исленьо, да что лицо — я представлял себе, что он скажет на все это! Правда, последнее слово останется за Мартинесом.

Обдумав все, я попросил хозяина судна:

— Задержишься еще на пару деньков, тебе, видно, придется увезти этот груз обратно. Ну, пошли.

Я зашагал по воде прямо к плоту, но внезапно остановился: «Ах, черт, как же я мог забыть?»

— Герман... Герман! Как там Фиденсио?

Но хозяин парусника не мог услышать меня против ветра.

— Все так же,— сказал парень, но я даже не взглянул на него.

Мы прибыли ночью. За два дня до этого Мартинес зажег первый костер. Он весь был из хукаро и горел бесшумно. В воздух поднималось облако серого дыма. В стороне поблескивал огонек в очаге. Мартинес и Исленьо не спали. Это был час разговоров за кружкой крепкого кофе.

Как только плот подошел к берегу, я подал голос. Тут же мне откликнулись.

- Это остальные,— объяснил я своему спутнику.  
— Сколько их? — спросил он.  
— Четверо, но они стоят двадцати.

Больше мы не произнесли ни слова.

Когда мы подошли к очагу, Исленьо встал. Не-возможно было различить что-либо, кроме сверкаю-щих белков глаз и жестяного кувшина в его руках. Я бросил взгляд на парня, затем на Мартинеса. Все они вызывали во мне беспокойство. Мартинес встал, сделал несколько шагов нам навстречу и спросил:

— Ты знаешь эту работу?

— Пока нет.

Затем произошло то, чего я и ожидал. Исленьо бросил кувшин и подошел вплотную к новичку.

— Нечего сказать, хороша рожа! Просили муж-чину, а прислали сосунка.

Никто не произнес ни слова. Молчал и новичок. Лицо его было едва освещено. Мне показалось, что оно покраснело, но я не поручусь, были то отсветы сгня или прилившая к лицу кровь.

Мартинес продолжал:

— Не знаешь работы, так можешь убираться.

Тут парень наконец потерял спокойствие.

— Ну, кое-что я могу делать!

— Конечно, ты наверняка умеешь очищать тарел-ки! — закричал Исленьо.

Но прежде чем он кончил, парень ударил его ку-лаком в лицо. Исленьо покачнулся и рухнул на ле-жавшие рядом стволы. Мартинес, Андрес и я кину-лись к ним. Мартинес добежал первый. Он хоть и был намного ниже парня, но, схватив его за талию, бросил на стволы, как куклу. Исленьо выхватил ма-чете. Мартинес резко остановил его:

— Прекратите все это, или я убью кого-нибудь.

Лицо Мартинеса оставалось спокойным. Исленьо спрятал мачете и вытер кровь с лица. Парню досталось. Во время падения острая палка разорвала ему рубашку и глубоко поранила тело. Из раны капала кровь. Парень ударился головой и теперь с трудом приходил в себя. Я приподнял его с земли. Андрес побежал за дорожной аптечкой. Мартинес был очень серьезен. Вот такими же глазами смотрел он на москитов и наблюдал за тем, как горели костры.

Через мгновенье парень пришел в себя. Он сплюнул кровь и сказал:

— Есть вещи, которые нельзя стерпеть.

— Завтра ты уйдешь отсюда,— откликнулся Мартинес.

— Хорошо, но я привез письмо от дона Бруно,— ответил он и вытащил листок бумаги. Мартинес взял фонарь и молча начал читать. Затем он протянул письмо мне. В нем говорилось:

«Податель сего — мой родственник. Посылаю его вместо Фиденсио. Он молод и бесстрашен. Я дарю ему костер из яны. Прошу принять моего родственника хорошо!»

— То-то я удивлялся его щедрости! Теперь он навязывает нам своего родственника! — заметил я.

Но Мартинес не обратил на меня никакого внимания. Он постоял, уставившись в землю, а затем произнес:

— Ладно!

По правде сказать, самым неприятным для нас была в этом парне кожа. Белая, как у женщины, кожа, словно созданная для москитов и острых веток. Как он сможет работать! Но он остался. К Исленьо он за все время не обратился ни разу.

Мы все дальше и дальше забирались в лес, не обращая внимания на насекомых, а это было нелегко. В те дни корасы поднимались в воздух фантастическим роем. Казалось, что на заросли наброшено серое покрывало. Весь рой описывал причудливые круги до тех пор, пока не удавалось выследить добычу, все равно кого — животное или человека, — было бы тело и кровь, чтобы напиться до отвала. Тогда они тысячами набрасывались на несчастную жертву, вызывая ужасную боль и оставляя красные пятна, которые через некоторое время от расчесывания превращались в гнойные язвы. Мы уже не могли сдерживаться, и на наших телах их были сотни.

В середине августа у нас уже было сложено три костра, и теперь мы наконец могли приняться за свой.

Парню мы все объяснили как есть.

— Этот костер наш, и Фиденсио получит свою долю. На этом костре ты ничего не зарабатываешь.

Он не произнес ни слова и продолжал работать, словно участвовал в доле.

Ночь, когда мы сложили костер и обложили его землей и дерном, была лучшей из всех, что мы провели на Кайо, несмотря на все наши мучения. Мартинес поднялся на самую макушку костра, чтобы зажечь его. Мы видели, как сосредоточенно он работал, там наверху, на гребне деревянной горы. Казалось, он стоит совсем близко к звездам, сверкающим над его головой. Костер удался на славу. Мы очистили все вокруг и, вооружившись факелами, отправились дальше.

На третий день Исленьо пожаловался на боль в животе. Затем у него началась рвота. Ему пришлось остаться в ранчо. Теперь мы разговаривали друг с другом только о самом необходимом.

— Антонио, почеши вот здесь,— говорил мне Мартинес. Парень молчал и виновато отводил глаза в сторону. У Исленьо по-прежнему продолжалась рвота.

Опытный угольщик может выдержать при умеренном ветре до трех дней без сна, но когда появляются москиты, то нет такого святого, который не проклял бы эту жизнь. Не спасает даже дым черного мангле.

Наступила ночь, когда нам пришлось оставить парня одного следить за костром. Так приказал Мартинес, и мы, сказать по правде, все этого хотели в душе.

Боже, как я спал! Я свалился замертво, словно глаза мне завалили землей и камнями. Последнее, что я услышал, был кашель Исленьо. И то он успел, наверное, кашлянуть всего раза три. Дальше я ничего не помню.

Не знаю, кто закричал первый и который был час. Я вскочил и стремглав выбежал из ранчо. Мартинес и Андрес уже бежали впереди. Между деревьями пронеслось дыхание огня. Ветки и стволы сверкали красными отблесками, и их отражение танцевало в воде. Пылал костер из яны! Верхушка костра уже была охвачена языками пламени. Мы бросились искать парня и нашли его здесь же, около болота. Он лежал лицом вниз и плакал. Андрес выругался и угрожающе замахнулся палкой. Мартинес остановил его: я приподнял голову парня. Все его лицо и руки были в ужасных ожогах. Я увидел испуганные глаза Андреса, а затем лицо Мартинеса, спокойное и твердое.

В тот год мы выжгли много угля. Но что с того! Большую часть получил хозяин участка. Нам доста-

лось немного. А после того как мы перенесли парня на посудину толстяка и он оказался далеко от всех наших дел, мы пропили и прогуляли с женщинами весь наш заработок. В одну из таких веселых ночей за стаканом вина кто-то сказал Андресу и мне, что Фиденсио умер.

Когда наша злость и досада понемногу улеглись и стало прохладней, мы возвратились домой.

Выйдя на маленькую пристань, я увидел мать Мартинеса. Как и во время прощанья, она стояла на пороге дома. У ее подола жались трое ребятишек, очень серьезные, в новых ботинках.

— Чьи это? — спросил я Мартинеса.

— Внуки Фиденсио, — сказал он. И обернулся в сторону Кайо. На горизонте с трудом можно было различить едва заметную серую точку.





СТАРОЕ ЖЕЛЕЗО

**С**тарый Лукас водил пальцами по лемеху плуга и, глядя на след, оставленный на руке ржавчиной, прикидывал, сколько же времени пролежал этот плуг без дела, как вдруг за его спиной раздались шаги, и, обернувшись, он прежде всего увидел краги солдата.

— Капрал велел позвать тебя, Лукас. Есть новости.

Лукас вскочил на ноги с легкостью, уже не свойственной его возрасту, и с надеждой заглянул в лицо вестового. Но тот молча повернулся и пошел прочь, а Лукас так и остался с застывшим на губах вопросом, который вот уже двадцать месяцев жег его

сердце. Первым побуждением Лукаса было вернуться в дом и сообщить новость старухе и трем дочкам, но он тут же раздумал и пошел к лошади. Спустя мгновение старик уже вдевал ногу в стремя. Он пришпорил коня и тут, впервые в жизни не рассчитав высоты апельсинового дерева, задел шляпой за ветки.

Первый же порыв ветра сдул с его шляпы на круп лошади несколько опавших апельсиновых листьев, и, глядя на них, Лукас мысленно вернулся к событиям пятнадцатилетней давности...

День выдался ветреный, от раскаленной земли веяло жаром. Он вложил в руки Фернандито саженец апельсина и, сделав в земле ямку длинными заскорузлыми пальцами, сказал мальчику:

— Закопай его как следует и жди. Из этого саженца ты сам сделаешь когда-нибудь рукоятку для плуга.

И его слова сбылись. У дерева срезали ветку, когда сыну исполнилось двадцать два года, и он сам очистил эту ветку от коры, а Лукас стоял и удовлетворенно смотрел, как на спине сына под взмокшей от пота рубахой ходуном ходили сильные мышцы.

Деревянная рукоятка была хорошо прилажена к плугу, а пальцы Лукаса еще хранили следы ржавчины. Сколько времени прошло с тех пор, как Фернандо, налегая на рукоятку плуга, шел по полю, погоняя быков, а сзади топтались куры, отыскивая и выклеывая земляных червей? Лукас не мог бы сказать этого точно, потому что за несколько месяцев до отъезда Фернандо было много воды и из-за этого не пахали. Ну, да ладно, не все ли это равно, раз он сейчас получит известия о сыне!

Размышляя о своем, Лукас и не заметил, как въехал во владения дона Федерико Луна; об этом

ему напомнил стук копыт лошади по деревянному мосту. Старый дон Федерико Луна! Однажды полусерьезно старик упрекнул Лукаса, что он чересчур уж много говорит о сыне. А все потому, что Лукас, когда разговор зашел об его Фернандо, сказал без всякого умысла:

— Бывало, выйду я поздно вечером, а Фернандо — сзади, нипочем не даст мне сбиться с дороги; ведь чего не увидят мои глаза, обязательно усмотрит он — за себя и за меня. Ну, а уж если мне отказывали руки, то что и говорить! Раньше я, бывало, одним махом срубал молодой мангле, а как постарел, то сразу уж никак не осилить. Ну да я был спокоен — мой мальчик шел сзади и в пол-удара кончал дело.

Уловив на лицах собеседников улыбочки, похожие на улыбку донна Луна, он пояснил, желая скрыть свое восхищение сыном:

— Я вовсе не потому его хвалю, что это мой сын. Я говорю: парень он что надо, но дети, как семена дерева сейбы: их надо отдавать в другие земли и другим людям.

Только уж очень далеко отдал он сейчас своего Фернандо, — думал Лукас в то время, как лошадь, оставив позади деревянный мост, направлялась по тропинке к казармам... Далеко, так далеко, что он даже не знал, где это. А произошло все так: однажды вечером приехали капрал с лейтенантом и двумя солдатами, устроили в доме Лукаса что-то вроде сборного пункта, и со всей округи к ним стала приходиться записываться молодежь.

Спустя некоторое время Фернандо получил приказ ехать в столицу. Прощание было немногословным. Старуха повисла на шее у сына, и затем в те-

чение двадцати месяцев ни разу не вышла из дому. Сам он проводил парня до лошади, и сын, то ли не зная, что сказать, то ли желая скрыть свои мысли, взглянул на плуг и с усилием улыбнулся:

— Не трогай новой рукоятки, старик, пока я не вернусь. Мне самому охота поработать...

С этого все и началось. Потом пошли разговоры:

— Сказывают, мир на куски разваливается!

— А с природой что делается! Никогда не было такой долгой засухи!

— Чего только не выдумают! Говорят, земля так и кипит, а семена не дадут всходов, пока топчут их солдаты одной да другой стороны.

Все разговоры были об одном и том же, но только у старого Лукаса имелось на это свое суждение, и он сердито ворчал в ответ:

— Нечего обращать внимание! Чем больше языком треплют, тем меньше толку!

Правда, это было все равно что повернуться спиной к тому, что происходило по ту сторону синих гор... А в общем, какое ему дело? Важно было одно: Фернандо никогда не обманывал, и если он сказал, что вернется, чтобы взяться за плуг, то в один прекрасный день так оно и будет...

Размышляя обо всем этом, старый Лукас вдруг заметил, что лошадь поднимается на холм, — он был уже возле казармы. Бросив взгляд на террасу, Лукас увидел обычную картину: придвинутые к стене скамьи по обе стороны двери и деревенского парнишку в заношенной солдатской рубахе, усердно начищающего сапоги на пороге дома. Он вспомнил слова капрала:

— Когда придут письма, я их ни с кем не буду передавать, а с удовольствием сам сохранию для вас.

Так сказал на прощанье капрал три месяца назад, когда он передал ему первое письмо от Фернандо, и сейчас Лукас вздохнул:

— Этот капрал держит слово. Верно, пришло второе письмо!

Решив даже не слезать с лошади, он подъехал к дому и поздоровался. Но вместо капрала он увидел другого человека. Старик тотчас узнал его и выпрямился в седле. Это был алькальд округи; в тот же момент из дома послышался голос и шаги самого капрала:

— Слезайте, Лукас, и заходите, мы ждем вас.

Лукас ничего не ответил, но, почувствовав в тоне военного какую-то неуверенность, он тотчас легко соскочил с лошади.

— Что случилось, капрал, разве писем нет?

— Видите ли, это для вас, и мы должны вам об этом сообщить.

На этот раз говорил алькальд, протягивая ему какой-то металлический предмет, зажатый между пальцами. Лукас хотел рассмотреть предмет, но его внимание отвлекли красные запонки на манжетах куртки, и он вспомнил, что точно такие же запонки он видел однажды вечером в деревенской лавочке и задумал купить их для своего Фернандо.

— Возьмите, Лукас!

Наконец-то старик разглядел предмет. Это была металлическая цепочка с номером.

— Она принадлежала вашему сыну. Такие цепочки надевают солдатам, чтобы опознавать их.

— Принадлежала?

Вопрос повис в воздухе, и казалось — на него никогда не будет ответа, пока наконец капрал не под-

нял голову с таким трудом, словно потолок казармы придавил его своей тяжестью.

— Он погиб на войне, старик...

Надо было знать старого Лукаса, чтобы понять, почему он так повел себя. Никто из присутствующих не мог этого предвидеть. Лукас повернулся, и, когда капрал хотел догнать его в дверях, он уже был в седле. Затем все поплыло перед его глазами, и он пришел в себя, только когда проехал мост дона Федерико Луна,— об этом ему опять напомнил стук копыт его лошади по деревянному настилу...

...Прошло время. Уже наполовину зажил обрубленный сук на апельсиновом дереве, а луизина травка<sup>1</sup> разрослась так буйно, что почти заглушила лилии на клумбах, когда однажды утром в поселок в поисках старого Лукаса пришел капрал.

— Теперь никогда не угадаешь, где он бродит,— сказала одетая в черное старуха, выглянув из двери.— Иной раз бывает в табачной лавке, иной раз — в загонах, но всегда там, где поменьше народу, чтобы не разговаривать.

Капрал поблагодарил и, пустив лошадь рысью, поехал к сахарному заводу; вскоре он увидел старика — опершись о сруб колодца, тот отвинчивал рукоятку плуга. Взгляд капрала на мгновение задержался на ржавом лемехе, затем, бросив поводья, он соскочил на землю рядом с Лукасом.

— Как живем, старина Лукас?

— Как видите. Делаю что придется.— Его голос звучал тихо, но веско. Это был другой голос и другой человек, весь поглощенный своей работой.

---

<sup>1</sup> Луизина травка — трава типа вербены с запахом лимона.

— Знаете, Лукас, я пришел к вам за помощью...

— Говорите.

— Дело в том, что начальство всегда держит нашего брата в ежовых рукавицах. Сегодня достань им балок, завтра срочно составь списки, и все по приказу и изволь выполнять.

— Да, сеньор.

— Теперь... Вы знаете, что война еще продолжается...

— Знаю.

— Ну так вот, в помощь нашему делу надо собрать всякий металлический хлам, ни на что не годные вещи, ну, например, старое железо.

— Да, сеньор.

— Ясное дело, мне не хочется, чтобы мы отставали от других. Надо раздобыть хоть какой-нибудь никудышный хлам. Плохо, что мы не живем в промышленном районе, а то на любом заводе я бы достал все это разом.

— Вы правы, сеньор.

— Но в общем...—И капрал помолчал, бросив взгляд на зажатый в коленях старого Лукаса лемех.— Кусок за куском я кое-что соберу, если вы мне дадите, скажем... этот лемех.

— Этот лемех, капрал?

— Вот, вот. А если найдется, то и еще что-нибудь.

Лукас помолчал, не сводя глаз с капрала, а затем, сжав рукоятку плуга, медленно произнес:

— Скажите мне... Для чего вам нужно это железо?

— Ладно... Чтобы выиграть войну... Говорят, сколько материала ни собирай, все равно не хватает...

— Не хватает, чтобы убивать, правда?

— Совершенно верно, Лукас.

Мужчины замолчали. Капрал Перес не мог уловить выражение глаз старика. Они смотрели куда-то вдаль, и так как капрал не понял этого взгляда, ему пришел на ум замечательный довод, который наверняка придется Лукасу по сердцу:

— Видите ли, может, это железо понадобится, чтобы убить того, кто убил вашего сына,— такова жизнь, Лукас. На все приходит свое время.

Медленно, как бы вырастая из земли, старик поднялся на ноги. В глазах его горел такой же необычный свет, как в день прощания с сыном.

— Капрал, а тот, что убил моего мальчика, ему тоже двадцать два года, и бедные старики тоже ждут его домой?

— Но ведь это враг, Лукас.

Больше Лукас ничего не спросил. Он схватил плуг, дернул за болт, уже освобожденный от гайки, вывернул лемех и, подняв его, шагнул к колодцу.

— Что вы делаете, Лукас? — раздался за его спиной прерывающийся голос капрала.

Но старик ничего не сказал. За него ответил приглушенный всплеск в глубине колодца. Руки Лукаса были пусты, он обернулся, чтобы поднять с земли рукоятку, сделанную из ветки апельсинового дерева, которое протягивало к солнцу обрубок с не зажившей до конца раной.





## ВОЗВРАЩЕНИЕ

**К**апрал Перес возвращался из поселка верхом на своем коне. Солнце садилось, и холмы на западе окрасились синевой. Капрал этого не видел. Он почти никогда не замечал таких вещей. Привычными для него цветами были желтый и черный: желтизна проглаженной военной гимнастерки и чернота отверстия пистолетного дула. С каких пор? Он и сам этого не знал. Желтизна маисовых лепешек за бедным столом его родителей, и густая чернота ночи, обступившая деревеньку, где он родился. Так было в детстве, таким это осталось для него навсегда. И чтобы освободиться от всего этого, в поисках других цветов он пришел к желтизне казарм и окунулся в красный пур-

пур крови. Теперь он возвращался верхом на своем коне, и слова Лукаса сверлили его мозг:

«Капрал, а тот, что убил моего мальчика, ему тоже двадцать два года, и бедные старики тоже ждут его домой?»

То был вопрос, и то был ответ. Эти слова старый Лукас бросил ему в лицо, не сводя с него печальных голубых глаз. Взгляд старика был безжалостен; ему давало на это право его вечное горе:

«А тот, для которого вы собираете старое железо, ему тоже двадцать два года, как моему мальчику, и бедные старики ждут его домой?»

«Но ведь это враг, Лукас!» — хотел было крикнуть капрал, но промолчал; и не только потому, что старик бросил лемех в колодец, но и потому, что слова Лукаса глубоко потрясли сердце солдата, для которого желтое и черное были единственными цветами с детства и до этих дней.

Все произошло чрезвычайно просто, но удар был жестоким. От этого удара у него голова пошла кругом, всколыхнулись воспоминания, мысли, похороненные где-то глубоко, под двумя простыми неизменными цветами.

Он пришел сюда в поисках железного хлама, какого-нибудь ненужного зазубренного топора, чтобы добавить еще немного к груде собранного у казарм лома. В указанный день это железо погрузят в вагоны и доставят в столицу; затем из столицы на пароходе его повезут за океан, туда, где день и ночь дымят трубы военных заводов и где выгружают весь этот железный лом, собранный в деревушках по эту сторону фронта.

И вдруг старик брссает ему:

— Это железо нужно, чтобы убить другого, а ему тоже двадцать два года, и дома его ждут родные!

Ужасно, когда человек так говорит. Но у старика был свой мертвый — его погибший сын: вот откуда такая сила в его словах. Человек, сын которого погиб от пули врага, разве этот человек даст хоть кусок железа, чтобы продолжали убивать детей, чужих сыновей, воюющих на всех фронтах? Да, сыновей, ибо все, кто сражается на фронтах, это не солдаты, это сыновья. А если так, то остается только спросить: разве справедливо, чтобы у человека убили сына только потому, что у кого-то другого тоже убили его мальчика?

Капрал сам не знал, куда едет. Он ехал той же дорогой, что и Лукас в тот день, когда он сообщил ему о смерти сына. Теперь капрал следовал за стариком по двум путям: по одному шли его мысли, по другому — стучали копыта его лошади.

На фронтах нет солдат, есть только сыновья. Это было как бы новым цветом, неожиданно вошедшим в его жизнь. Яркий голубой цвет, о существовании которого он до сих пор даже не подозревал. Он сам был солдатом, он сам был сыном, но сейчас это было неважно, важно было другое — у него тоже есть сын, такой же, каким для Лукаса был Фернандо, такой же, как тот, на фронте, для которого он готовил пули. Война тянулась уже два года; она могла продолжиться еще пять, а через пять лет его мальчику исполнится двадцать; в двадцать лет его уже могут забрать и послать туда, куда идут поезда и корабли, битком набитые людьми, — их тоже ждет гибель на чужой земле, как ждала она сына Лукаса.

— Боже мой! Они не солдаты, они сыновья! — в отчаянии воскликнул капрал, рывком останавливая

лошадь. Он с тоской огляделся вокруг и увидел заходящее солнце, похожее на каплю крови над голубыми вершинами холмов. Кругом царило безмолвие, земля не давала ответа на мысли человека. Постепенно сгущалась ночная тьма — его первый и горький цвет.

«А если все это действительно произойдет? Призывной возраст, военная подготовка, отправка на фронт и... смерть?» О боже, об этом не надо думать! Но думай или не думай, все равно это может произойти, и будет он говорить, как старый Лукас: «Разве справедливо, чтобы у другого тоже убили сына?» Теперь он понимал, что старый крестьянин говорил о нем, о его сыне, обо всех сыновьях на земле. Как просто решил старик остановить смерть: никто не даст ни куска железа, никто не будет разжигать вражду, и сама мысль о мести угаснет при виде добрых голубых глаз Лукаса. Но как это сделать? Может ли Лукас заставить всех думать так, как думает он? Кто из этих знатных сеньоров, сенаторов, канцлеров понесет к людям слова Лукаса?

«Никто», — подумал он и ослабил поводья. Но ведь старик бросил свой лемех в колодец и тем самым показал, как надо действовать! Так должен поступить один, за ним другой, каждый должен сделать свое — закопать железо или подмочить порох, или скрестить руки и не прикоснуться ни к одной гайке, ни к одному рычагу. Что мог бросить он, капрал, и на дно какого колодца? Свои цвета, желтый и черный, оставив себе только новый и такой неожиданный — голубой? Но как это сделать?

Путей было много: можно сорвать с себя мундир и крикнуть, чтобы перековали на плуги всю эту черную гору железа, сваленную во дворе казармы.

А что с ним будет потом? Не надо об этом спрашивать. Разве спрашивал об этом старик, когда стоял рядом с ним, представителем власти, и, безмолвно повернувшись, смело бросил этот лемех в колодець?

Капрал вздрогнул. Разве он не мужчина? А если мужчина пришел к чистой и справедливой идее, он не может отказаться от нее, разве что только навсегда забудет о чистоте и справедливости. Значит, надо что-то делать, и капрал поднял голову, отыскивая в небе вечернюю звезду.

Но взывать к звезде было бесполезно. Люди всегда только и делали, что взывали к звездам. Как же быть? Продолжать жить по-прежнему, идти прежними путями, и чтобы так же тянулись дни и такими же оставались люди? Лукас! Он не выходил у него из головы. Надо выбирать между звездой и Лукасом. Звезда сияла на небе для того, чтобы человек мог в тщетной надежде устремлять к ней свой скорбный взгляд, а Лукас на земле, отказавшись дать железу для убийства чужих сыновей, учил людей, что им делать.

«Потому что нет чужих сыновей». Сын ближнего — это твой сын, все равно, одинаковые или разные у них глаза и улыбки... Это тоже он понял благодаря Лукасу. Значит, идти вперед старыми путями, со старыми мыслями уже невозможно.

Он натянул поводья, и лошадь вздернула голову, роняя с губ изжеванную траву. Теперь звезда сияла у него за спиной, а впереди, в темноте ночи, скрывался дом Лукаса...

Глаза старика, привыкшие к темноте, сразу узнали всадника.

«Он вернулся, всегда они возвращаются», — подумал он, но капрал не дал ему даже слова сказать.

— Сколько, скажите, Лукас, сколько железа поместится в вашем колодце?

Лукас молчал.

— Скажите, может поместиться в нем все железо, что есть у меня в казармах, все железо, что можно найти на свете?

Он озирался, как затравленный зверь, пот лил с него ручьями, а в голосе звучало отчаяние. И Лукас все понял.

— Слезайте с лошади, капрал. Чем я могу помочь?

Но капрал соскочил с лошади и, даже не подойдя к Лукасу, большими шагами направился к колодцу. Лукас последовал за ним.

— Не может быть, чтобы во всем мире были только мы двое, Лукас; кто-то еще должен знать об этом!

— Постепенно страдания открывают глаза на многое, капрал.

Военный повернулся, чтобы рассмотреть в темноте ночи лицо старика. Вечерняя звезда сияла почти над самым его сомбреро. Капрал не мог видеть глаз Лукаса, но угадывал этот мудрый взгляд, казалось, сосредоточивший в себе всю скорбь бедняков. И он медленно опустил голову, чувствуя, что не может сделать ни шагу, не может уйти отсюда, по крайней мере до тех пор, пока не кончится в мире война.



## КОРАЛЛОВЫЙ КОНЬ

**Н**ас было четверо на борту «Эумелии», и мы зарабатывали себе на жизнь ловлей омаров. Суденышко имело только одну мачту, и по ночам кто-нибудь придерживал руками или ногами штурвал, а трое остальных спали вповалку в темной конуре на баке. Когда качало, грязная вода из трюма лизала нам щиколотки.

Но мы не представляли себе иной жизни: ведь стоит только лечь на определенный курс, как уже невозможно вернуться назад. Вы привыкаете к своей дороге и не можете свернуть на другую. Так мы думали до тех пор, пока среди нас не появился пятый,— тут все изменилось... Он ничего не смыслил

ни в нашем деле, ни в нашей жизни и каждому из нас годился в отцы. К тому же он был богат, и ему не нужны были жалкие песеты, которые мы выручали от продажи омаров.

Все это было нам очень странно и не по душе, и я чувствовал, что рано или поздно, а раздражение, сквозившее и в наших взглядах, и в невысказанных словах, прорвется наружу. На третий день я сам не выдержал и спросил:

— Монго, скажи мне, что здесь делает этот господин, объясни мне?

— Рассматривает морское дно.

— Но ведь он не ловит омаров?

— Нравится ему, вот он и рассматривает.

— А что, это помогает нам ловить омаров?

— Нет конечно, но для нас это все равно, что положить в карман денежки за омара.

— Ничего не понимаю.

— И притом, хорошие денежки, Лусио, звонкой монетой.

— Значит, он платит?

— Платит.

— А сколько?

— Сколько пожелаем.

И Монго, улыбаясь, уставился на меня, словно хотел убедиться, понял ли я из его слов, где тут «собака зарыта».

— А он знает, что мы иногда неделями не возвращаемся в гавань?

— Знает.

— И что вода в море это не шампанское из холодильника?

— Знает.

— И что здесь вместо перин голые доски?



— Знает. Все знает и ни на что не жалуется. Но ты, Луисио, побереги на всякий случай несколько вопросов, ведь в море это все равно что сигареты: только вздумаешь закурить — глядь, а они все вышли.

И хозяин показал мне спину как раз в тот самый момент, когда над Эль Гайюэло всходила вечерняя звезда.

Всю ночь я думал об этом человеке. Зачем ему целый день, когда все кругом работают, лежать, наклонив лицо к самой воде, — может быть, он не хочет, чтобы его заметили с другого судна? И что нужно здесь человеку, который расстался с твердой землей и верным капиталом? Что нужно ему на борту углой «Эумелии», которую норд-ост в любую ночь может занести бог весть куда.

Наконец я уснул. Весь день я выискивал омаров, напряженно всматриваясь в морское дно. Глаза у меня болели, и я уснул, как может уснуть лишь настоящий ловец омаров.

Под утро меня словно осенило: он ждет, пока его подберет другое, более быстроходное судно. Видно, он бежит на Юкатан, к мексиканцам. Совершил какое-нибудь преступление, из тех, что можно замаять с помощью денег, и понимает, что надо спастись любым способом. Вот почему хозяин говорил тогда, что он заплатит нам, сколько мы пожелаем.

И опять целый день пролежал я в шлюпке, свесившись за борт, лицом вниз. Педрито сидел на веслах, а «Эумелия» стояла на якоре посреди тихого безветренного моря, в зеркале которого отражалось солнце.

— Этот тип тоже весь день пролежал носом вниз, разглядывая дно, — смеялся Педрито, пока я насухо вытирал руки, боясь намочить вторую за сегодняшний день сигарету. Я спросил:

— Тебе не кажется, что он поджидает корабль?

— Какой корабль?

— Вот я и спрашиваю у тебя! Может быть, в сторону Юкатана.

Педрито широко раскрыл свои невинные голубые глаза, в которых отражалась вся чистота моря и его собственных четырнадцати лет.

— Ты о чем?

— Он, наверно, хочет бежать с Кубы.

— Он говорит, что как только кончится хорошая погода, он вернется на берег.

— Ты это сам слышал?

— Ну конечно! Он сказал Монго: «Пока нет ветра, я буду с вами, потом вернусь домой».

— Как!

— Такой у нас уговор, Лусио, мы его ссадим на берег, как только подует самый легкий бриз.

Значит, этот человек не собирался бежать и у него были деньги. Нет, надо было быть ловцом омаров, чтобы понять, почему у меня все это в голове не укладывалось; ведь другой раз просто черт знает что выкинуть хочется, только бы навсегда распрощаться с проклятыми ночевками в черной дыре и этим лежанием целый день на носу лодки головой вниз.

Педрито передал мне весла, и мы молча поплыли назад, к паруснику.

Когда мы шли мимо кормы, я посмотрел наверх: он лежал там на животе и даже не взглянул в нашу сторону. Казалось, он не слышал всплеска весел, и только выражение легкой досады пробежало по его лицу, когда волна от весла разбила зеркало прозрачной воды, сквозь которое он пристально вглядывался в морское дно.

Конечно, каждый может тратить свои деньги как ему вздумается, но что-то здесь было не так. Почему он так вел себя, этот человек, невозмутимо спокойный, с большими глазами и открытым лбом? Тогда я снова решил спросить у хозяина:

— Монго, чего хочет этот человек? Что он ищет? За что платит?

Монго как раз чинил сеть и, собираясь ответить, уже приоткрыл было рот, но оттуда выпорхнуло только облачко дыма от сигареты и тотчас же растаяло в воздухе.

— Ты что, не слышишь? — повторил я свой вопрос.

— Слышу.

— Почему ж ты молчишь?

— Потому что я знаю, о чем ты собираешься спросить меня, и думаю, как тебе лучше объяснить.

— Словами.

— Словами-то словами, но дело в том...

Он повернулся ко мне и отложил в сторону большую иглу. Я подождал немного и решил поторопить его:

— В моем вопросе нет ничего странного.

— Но в ответе моем будет немало странного, Лу-сио, — сказал он серьезно. И не успел я набрать в грудь воздуху, чтобы выразить свое удивление, как послышался крик Педрито:

— Эй! Мы сели на мель!

Мы попрыгали за борт и по горло в воде принялись подталкивать днище «Эумелии», пока она не поплыла над песчаной банкой, где крутились водовороты. Монго тут же стал проверять сети, а мне пришлось готовить завтрак. Так в тот день я и не говорил с хозяином. Зато у меня была возможность лучше рассмотреть лицо этого человека, и я впер-

вые заметил, что его глаза, большие и ясные, не могут подолгу задерживаться на чужом лице. Он не сказал мне ни слова. Молча прилег у штурвала и заснул как убитый. Вечером хозяин разбудил его, и он, похлебав в темноте немного супу, снова заснул.

С виноградников Эль Гайюэло долетал легкий ветерок. Я перемыл кое-как тарелки за бортом и отправился на бак, где, озаренный полной луною, блаженствовал, растянувшись во весь рост, хозяин. Не тратя лишних слов, я начал прямо с того места, на котором остановился днем:

— В моем вопросе нет ничего странного.

Он мягко улыбнулся. Молча приподнялся на локте и, раскуривая сигарету, сказал между затяжками, освещавшими его лицо красноватыми бликами:

— Видишь ли, он думает, что у него не все в порядке с головой, и за свои деньги хочет поправить свое здоровье.

— Лежа целый день головой вниз и разглядывая воду?

— Дно.

— Воду или дно — какая разница; все равно это причуды.

— Нас это не касается, раз он платит за свои причуды.

— Касается.

— Почему?

И тут, сам не зная почему, я сказал:

— Потому что мало просто получать деньги за работу — хочется еще знать, что заставляет человека платить тебе их.

— Как «что»? Помешательство.

— А это не помешательство, держать на борту сумасшедшего?

— Да ведь у него помешательство особенное, Лу-  
сио, тихое. Он только не переносит ветра.

«Опять об этом»,— подумал я, и решил спросить:

— При чем здесь ветер, Монго? Педрито мне уже говорил. Зачем ему, чтобы море было тихим, как лужа?

— Я же сказал: помешательство.

— Нет! — крикнул я ему и в испуге оглянулся на корму, уверенный, что разбудил этого человека. Но из-под тента торчали лишь голые ноги, залитые лунным светом. Обернувшись к Монго, я увидел, что лицо его расплылось в улыбке.

— Не пугайся, дурачок! Его помешательство — это всего только причуда, и он за нее платит. Он не способен причинить никакого вреда.

— Но один человек может вывести из себя другого,— быстро произнес я и тут же понял, что теперь-то уж он мне скажет правду.

— Ну ладно, я скажу тебе: этот человек думает, что под водой кто-то есть.

— Кто?

— Конь.

— Как!

— Красный, говорит, конь, такой красный, словно коралл.

И Монго разразился громким хохотом, чересчур громким, чтобы я ему поверил. Неожиданно около нас очутился тот человек, и Монго, слегка смутившись, спросил его:

— Что, земляк, не спится?

— Вот вы говорите о коне, так знайте: я не лгу, в таких делах я не лгу.

Я потихоньку приподнялся, чтобы мне было видно его лицо. До сих пор я видел только темные очер-

тания его головы на фоне лунного неба и нисколько не сомневался, что он взволнован, хотя голос его звучал спокойно; но нет, этот человек был спокоен, как море. Монго не обратил на его слова никакого внимания, неторопливо поднялся и сказал:

— Я не говорю, что кто-то врет, но лично я никогда не стал бы разыскивать живого коня под водой,— и отправился спать, исчезнув в черном квадрате люка.

— Нет, он никогда не стал бы,— пробормотал этот человек,— но если бы и стал, все равно не нашел бы.

— Почему это? — воскликнул я, уверенный, что Монго знает море, как никто.

Теперь человек стоял так, что луна светила ему прямо в лицо.

— Потому что надо иметь глаза для того, чтобы видеть. «Имеющий глаза, да видит».

— Видеть... но что?

— Видеть то, без чего уже никогда не сможешь жить, если видел хоть раз.

Это, конечно, было сумасшествием; сумасшествием тихим и безобидным...

Монго был прав, но мне не нравилось ни зарабатывать на сумасшедших, ни тратить на них время. Поэтому я собрался было уйти и уже сделал несколько шагов к корме, как вдруг услышал, что этот человек обращается ко мне:

— Послушайте, подождите; один человек может сильно раздражать другого.

Это были мои собственные слова, и я почувствовал себя как бы ответственным за них.

— Ну и...

— Я очень надоел вам?

— А мне-то что? Можете хоть всю жизнь разглядывать воду или дно.

— А вы разве не хотите узнать почему?

— Я и так уже знаю.

— Сумасшествие?

— Да, сумасшествие.

Человек рассмеялся и сквозь смех сказал:

— Ну, разумеется, к тому, что непонятно, надо обязательно привесить какой-нибудь ярлык.

— Конечно. Разве можно увидеть то, чего нет. Конь существует, чтобы дышать воздухом, чтобы ветер трепал ему гриву, чтобы копыта цокали по камням.

— Но он существует также и для полета воображения.

— Что?!

— Чтобы увлечь человека, куда ему вздумается.

— Так для этого вы заставляете его скакать под водой?

— Он сам скачет там, я только вижу, как он пробегает, я слышу его. Я различаю в тишине стук его копыт, когда он мчится безудержным галопом. И тогда мне видна его грива из черных водорослей, и весь он, красный, словно коралл, словно кровь в венах, еще не соприкоснувшаяся с воздухом.

Он был сильно возбужден, и я почувствовал непреодолимое желание уйти. Но про себя я подумал, что это здорово — увидеть, как мчится вот такой конь, пусть это будет только на словах; и что, пожалуй, уже не захочется отвести от него глаз, даже если он существует лишь в словах этого безумного человека. Однако я промолчал. Мне не хотелось говорить о своих чувствах, чтобы он не вышел победителем в нашем споре.

— Хорошо думать о коне тем, кому не приходится зарабатывать на хлеб.

— Каждому нужен конь.

— Положим, хлеб человеку нужен больше...

— И конь тоже.

— С меня хватит и хлеба при нашей собачьей жизни.

— Стоит только насытиться хлебом, и тебе захочется коня.

Я не совсем его понял, потому что в голове у каждого есть, наверно, что-то вроде порога, о который спотыкаются незнакомые слова, а может быть, от них идет какое-то особое сияние, которое действует на тебя. Словом, для меня это оказалось труднее, чем лежать весь день лицом вниз, выскивая омаров. Вот почему я поспешил уйти как можно скорее, чтобы он не успел окликнуть меня и не вздумал снова задерживать.

Когда мы с Педрито садились в лодку, заря занималась над Гайюэло, а ветерок доносил крики птиц. Я тихо, как бы невзначай, сказал Монго:

— О моей доле забудь, я не хочу брать денег с этого человека.

И мы, как всегда, поплыли. И снова прозрачная вода, и морское дно, заросшее водорослями, сети... Неожиданно я рассмеялся, обернувшись к Педрито.

— Что бы ты сказал, если бы я вытащил сеть кораллового коня?

В его детских глазах не отразилось ничего, но слова его заставили меня вздрогнуть.

— Будь осторожнее, Лусио, видно, солнце сильно напекло тебе голову.

«Не солнце, а этот человек», — подумал я про себя, и мне стало немного грустно, сам не знаю почему.



Прошло еще три дня, похожих один на другой, а этот человек по-прежнему почти ничего не ел и только смотрел в воду, перегнувшись через борт и не обращая никакого внимания на колкости Висенте, который от усмешек перешел уже к словам:

— Эй, земляк! Севернее на дне водоросли длиннее, может, это они от конского навоза растут лучше!

Это не казалось мне жестокостью, это было просто глупо. Раньше, бывало, я любил посмеяться над шутками Висенте, но теперь слова эти показались мне такими низкими, такими жалкими по сравнению с мыслью о красном коне, который, стуча копытами о подводные камни, проносится с развевающейся гривой, свободный и прекрасный,— так мне стало больно от этих слов, что на следующую ночь я опять подошел к этому человеку, хотя был твердо намерен не уступать ему.

— Допустим, он есть, и даже скачет галопом под водой. Что из этого? Какой в этом смысл?

— Его смысл в беге, в том, чтобы сверкать, а может быть, и в том, чтобы не иметь смысла.

— И стоит из-за этого мучиться, как вы, целыми днями, чтобы только увидеть, как он пролетит и исчезнет?

— Все новое стоит того, чтобы из-за него мучиться, стоит принести жертву во имя того, чтобы раскрыть неизвестное.

— Глупости, никогда он не пробежит, его нет, и никто его не видел!

— Я видел его и увижу еще.

Я хотел было ответить, но вдруг, посмотрев ему в глаза, онемел. Его взгляд, вся его фигура дышали такой силой правды, таким благородством, что я не посмел спорить и принялся следить из-за его плеча

за пеликаном, который, пролетая мимо, внезапно сложил крылья и ринулся в воду.

Человек положил мне на плечо свою мягкую руку и сказал:

— И вы можете увидеть его, приходите ко мне сегодня вечером.

Слова эти до того разозлили меня, что я почти грубо убрал его руку со своего плеча. Солнце еще могло нагреть мне голову, но не он. Не в его власти было заставить меня видеть какие-то призраки ни с того, ни с этого света.

— С меня хватает омаров. И больше мне ничего не надо.— И пошел прочь от него, услышав вдогонку:

— Вам это так же надо, как и мне. «Имеющий глаза, да видит».

В то утро я почти не завтракал — не хотелось. К тому же в сеть пошел настоящий омар, так что дел хватало. Еще до того, как этот человек проснулся, мы с Педрито отчалили в лодке и работали без перерыва до пяти вечера, пока еще можно было различить омара на дне. Потом мы вернулись на судно, и тут, на мое горе, оказалось, что все трое — Висенте, Педрито и Монго — уехали на берег за дикими сливами. Я бы, конечно, поехал с ними, но не заметил, как они отчалили. Усевшись на корме чинить сети, я старался работать так, чтобы не поднимать головы и не попасться на глаза этому человеку.

Мы бросили якорь на глубоком месте, к югу от Гайюзло. Море было спокойным, как никогда. Даже зеленые бороды тины, повисшие на руле «Эумелии», не шевелились. Небо было высоким и чистым, и стояла такая тишь, что можно было видеть, как движется воздух. И тут я услышал:

— Идите сюда!

Сеть выпала у меня из рук, мускулы ног напряглись, но я продолжал сидеть неподвижно.

— Да идите же сюда!

— Вы не имеете никакого права заражать своим безумием остальных!

— Бойтесь встретиться лицом к лицу с правдой?

Это было уже свыше моих сил. Отшвырнув сеть ударом ноги, я побежал на корму, туда, где стоял он.

— Я не боюсь,— сказал я.

— Слышите... гул?

Я задержал дыхание и, прислушавшись, обернулся к нему.

— Это волны.

— Нет.

— Это вода в трюме или отбросы, которые кинут там, внизу.

— Вы прекрасно знаете, что это не так.

— Ну тогда что-нибудь другое, но не это.

— Слышите, слышите... вот он цокает по камням.

Слышал ли я? А если и слышал, то своими или его ушами? Не знаю, голова у меня горела, а сердце билось где-то у самого горла.

— А теперь смотрите вниз, хорошенько смотрите.

Он словно хотел заставить меня, но ведь каждый смотрит только туда, куда ему хочется, и я стал глядеть на море, туда, где неподалеку от нас на поверхности плавал большой лист мангле.

— Он скачет, скачет! — крикнул он мне с яростью, впиваясь в мою руку, но я упрямо продолжал смотреть на лист мангле. Но не слышать-то я не мог, ушей ведь не направишь в другую сторону. Вдруг я почувствовал, как по его телу прошла дрожь, и он крикнул:

— Вот он!!

Я мгновенно перевел взгляд с листа мангле на его лицо. Не хотел я видеть ничего необыкновенного — он мог убить меня и все равно не заставил бы, но внезапно он, словно забыв обо мне, выпустил мою руку, глаза его раскрылись еще шире, и в них, против своей воли, я увидел уменьшенное отражение скакавшего на дне моря красного, словно коралл, коня, сверкавшего от гривы до хвоста. Конь промелькнул и растворился в глубине глаз этого человека.

С тех пор прошло немало времени, и теперь я, как и раньше, выхожу в море ловить омаров. Но вот чего я не выношу, так это черного хлеба и разговоров о каких-нибудь странных и непонятных вещах, потому что я до сих пор так и не знаю, скакал ли кто-нибудь тогда по морскому дну под «Эумелией» или я видел кораллового коня только в его глазах, коня, порожденного его лихорадочно бившейся мыслью, которая горела тогда и в моей голове.

И чем больше я об этом думаю, тем яснее становится для меня мысль о том, что человек всегда испытывает два голода.



ЧЕТЫРЕ ДНЯ  
ИЗ ЖИЗНИ МАРИО  
БЕНХАМИНА

*Да покоится в мире Марио Бенхамин  
Беларде*

**О**н сказал «прости» этой благостной жизни третьего числа сего месяца.

Здесь, рядом с твоими бранными останками, что покоятся ныне под свежим кладбищенским дерном недалеко от памятника Мученикам-пожарным, где каждый вечер снова и снова усаживается щебетать стая придорожных воробьев, мы присядем тоже и расскажем какому-нибудь путнику о четырех днях твоей сбывшейся мечты, Марио Бенхамин Беларде, и да покойся ты в мире,

## *Место действия*

Ты не будешь отрицать, Марио, что очень хорошо сотворена эта наша жаркая деревня, залитая таким ярким светом у подножия горы. С вершины горы видно, как речка, которая не следует ни строгой дисциплине улиц, ни поведению людей, входит, извиваясь, во двор Марии Селестины, а потом скачет, точно мальчишка, между камнями до самой виллы сеньора алькальда. Дальше она огибает кольцом церковь, подав скудную милостыню влаги ее старым стенам, позеленевшим от мха, и, наконец, скорчившись, пробирается под мостом де ля Крус. Но по правде говоря, Марио, ведь только с вершины горы наша деревня кажется сверкающей пригоршней самоцветов на ладони,— вершины, откуда ты столько раз смотрел на нее при свете дня и на утренней и вечерней заре, чтобы увидеть, как она окрашивается золотом тебе на радость.

Я, Марио, до сих пор очарован нашей деревней и нашими людьми,— людьми, о которых, глядя с вершины горы, никогда не скажешь, что их так много. Мне нравятся, Марио, все жители нашей деревни. И сумасшедший Факундо, повторяющий под стук копыт своей маленькой ослицы, что он родился раньше своего отца. И дон Грегорио, судья с золотой цепочкой для часов на жилете. Седовласая Мария Селестина, которая беспрестанно ходит взад-вперед, обвешанная множеством ярких бус: кажется, она до сих пор несет на себе отпечаток тех времен, когда была еще бравою женщиной и пользовалась большим спросом у мужчин. И всех, Марио, всех я люблю, они мне нравятся, потому что и ты и я созданы из множества черт этих самых людей.

## *Рождение и детство Марио*

Это место, где ты родился, Марио, многим обязано тебе. Уж если говорить о долгах, то оно обязано тебе даже за твою смерть, потому что ты был единственным избранником среди немногочисленного населения нашей деревни. Ты родился поэтом: это было и твоей славой, и твоим несчастьем. Помнишь, однажды, когда ты был один на реке и двенадцать лет бродили, как вино, в твоём маленьком обнажённом теле, тебе вдруг показалось, что ты слился с природой: деревьями, рыбой, плавающей в воде, лаем собак? Какая дрожь, незнакомая всем другим, потрясла тебя до самых нежных струн твоего существа! Ты почувствовал, как природа проникла в твою плоть, в самое твоё сердце, и если там, наверху, все-таки есть какая-то дверь, то, может быть, в конце твоего пути тебе это зачтётся, хотя мы здесь, внизу, никогда об этом не узнаем и будем носить все новых и новых Марио на кладбище.

Ну хорошо, чтобы покончить с твоим детством, я хочу только ещё рассказать, как однажды волхвы вспомнили о тебе и послали тебе маленькое игрушечное ружье, знаешь, из тех, что стреляют пробкой на тонкой бечевке. Ты не хотел играть, как играют все дети деревни, убивая друг друга из игрушечных ружей. Ты прицеливался себе в грудь и стрелял пробкой. Глупости ребенка, который родился поэтом и которому нравится, что им восхищаются, хотя бы из-за этого и пришлось остаться без глаз.

## *Немножко любви, которая скоро прошла*

Аромат цветов был посредником. Он соединил тебя с этой девушкой. И все потому, что ночью веял ветер, а в парке, как ты знаешь, он и она гуляют наперекор ветру. Эти прогулки очень мудры, Марио. Они не были созданы небом, их открыл инстинкт. Это обнаружили мы, жители нашей деревни: идти наперекор ветру — все равно что плыть по течению. По течению вслед за этим ароматом, а потом за этой улыбкой, а потом за этой любовью,—лучшим, что было в твоей жизни, Марио.

Конечно, ты был поэтом и написал много глупостей о своей любви, но их можно тебе простить, потому что в конце концов, возмужав, ты потом принес себя в жертву самому прекрасному делу в нашей деревне — большому детскому парку, который до сих пор все еще не построен.

## *Великая мечта Марио*

Разумеется, ты существовал за счет случайностей. А как же еще ты хотел бы существовать, раз ты был лириком и не мог не приходить непрерывно в столкновение с повседневностью, убожеством и нищетой? Ты воображал, что можно быть поэтом и пройти по миру невредимым? Есть вещи, Марио, которые иногда меня отталкивают от тебя, и мне хочется спугнуть твоих воробьев с памятника Мученикам-пожарным, но потом, поразмыслив, я начинаю понимать, что если я не буду тебе другом, кто же останется у тебя в этой деревне, где каждую годовщину «Общества трех» приносят цветы к бюсту Попечителя Пачеко Остейса, воздвигнутому ему еще при жизни.



Это ничего, Марио, что ты наделал много глупостей. Например, во время твоего первого визита к Попечителю он, говоря о делах, связанных с твоим парком, несколько раз повторил, что необходим «детский парк для детей», а ты, глупый Марио, перебил его, сказав, что «детского» уже вполне достаточно и что незачем прибавлять еще определение «для детей». Ах, Марио, как у тебя не хватило такта оставить Попечителю его привычный стиль речи! Ты делал порой вещи настолько неразумные, что отсюда и пришла добрая половина твоих бед. Ты так никогда и не понял, что даже язык Попечителя не мог оказать ему чести,— да и не были честными ни сам Попечитель, ни его язык.

### *Марио на пути к своей великой мечте*

...Потому что ты был человеком идеи, а все остальное, что бы о тебе ни говорили,— просто гнусность. Я прочел это в «Вестнике доброй воли». Заметка была возбуждающей и прекрасной: «Марио Бенхамин, у которого не было детства, требует парка для детей этой деревни». Я прибежал обнять тебя, Марио. Твоя идея была мыслью настоящего поэта, потому что, хотя люди не очень-то много знают об этом, поэт — это прежде всего сердце, а потом уже подогнанные под размер созвучия или свободные ритмы. Но какие несчастья могут произойти, если для такой идеи вовремя не найдется человек, а если и найдется, то окажется поэтом, который приписывает всем остальным свои собственные чувства! Это относится прежде всего к тебе, Марио, потому что пора уже тебе узнать то, что происходило почти на твоих глазах и чего ты все-таки не видел.

Видишь ли, Марио, президент «Общества трех» и Попечитель лицензиат Остейса никогда не ощущал, подобно тебе, всей своей плотью прекрасную природу, он даже не смотрел на нее из окна автомобиля. Единственное, чего ему всегда удавалось достигнуть — и довольно успешно, — это набить себе желудок лучшими плодами, какие давала эта природа. Вот в чем разница, Марио. Но что ты во всем этом понимаешь, если ты считал, будто в груди лицензиата уже бьется твое собственное сердце!

В то утро ты явился в «Общество трех», сияя от радости. Из окна другого клуба, «Общества четырех», взглянули на тебя и снисходительно улыбнулись. Может быть, кто-нибудь подумал: «Вот идет Беларде — тот самый, что питается облаками и собственными поэмами». Так вот, ты шел в приемную лицензиата, а я веками стою там на якоре, поскольку являюсь создателем архива общества. Таким образом, они не могут уволить меня ни с того ни с сего: ведь они с ума сойдут потом, отыскивая какую-нибудь бумагу. Я был там, как и всегда по утрам, и слышал вашу беседу, после которой ты вышел на улицу с разбитыми надеждами.

— Парк для детей бедняков? — переспросил лицензиат Попечитель. — А вы знаете, во что это нам обойдется? Тысячи и тысячи! Пришлось бы купить целый квартал, а на какие деньги, Беларде? Чем может располагать общество без официальной поддержки?

Ну, ты ответил ему полуответом, потому что даже в этом натура твоя была нерешительной, и хотя ты так много мог сказать, ты не говорил ничего, если только это не были стихи, и к тому же хорошо срифмованные.

— Это очень легко, сеньор Бенхамин, подавать идеи и любить детей, но делать дело и приносить им пользу — это требует совсем другого подхода и других усилий, а этого мы не можем. Я отказываюсь, — и со мной отказываются «Общество трех» и весь список его многочисленных членов, — соорудить какой бы там ни было детский парк для детей.

И ты вышел на улицу, Марио, когда члены конкурирующего «Общества четырех» уже уселись за свою излюбленную маленькую партию в карты.

### *Изобретательный секретарь*

Я не знаю, Марио, известно ли тебе — я подозреваю, что ты об этом даже не догадывался, — что архивариус никогда не кончает работу рано, особенно если он знает, что в контору приходил друг, и убежден, что после его ухода разговор пойдет именно о нем. Поэтому, когда ты вышел, я остался и увидел, что к Попечителю прошел Химено, его секретарь. Попечитель ветрел его громовым хохотом на твой счет.

— Ты знаешь, Химено, — сказал он, — у меня был Беларде, поэт, тот, что питается облаками, а приходил он поговорить со мной о каком-то детском парке для детей.

Мне, конечно, не нужно напоминать тебе о главной добродетели Химено: он всегда давал Попечителю излиться до конца.

— О детях мне, Химено, а? Да еще когда нам нужно провести сбор на карнавалы, которые обеспечивают нашей деревне такой высокий культурный престиж и во время которых в моей лавке раскупают столько серпантина.

— Вы откровенны, лицензиат.

— Откровенность за откровенность, дорогой мой секретарь,— немедленно парировал Попечитель с той же хитрой усмешкой и тотчас же вернулся к своей первоначальной мысли:

— Что может сделать «Общество трех» без официальной поддержки, чтобы соорудить парк для детских детей?

И он замолчал, уставившись на Химено, но секретарь принялся барабанить пальцами по столу.

— Что? Ты не согласен с тем, что я сказал, Химено?

— Может быть, лицензиат...

— Что может быть, Химено? Выкладывай, что у тебя на уме.

И тогда секретарь, поглядывая на него маленькими цепкими глазами, заговорил, мысленно уже установив прицел на своем орудии:

— Попечитель, я всегда ожидаю чего-то большего от вашей проницательности. Я надеюсь на ваше богатое воображение, которого у вас всегда в избытке, и на ваш светлый ум.

Так вот, Марио, как хороший архивариус, я прекрасно знаю, что, когда Химено называет лицензиата проницательным, тот уже у него в кармане.

— Дай мне зацепку, Химено, дай мне зацепку, чтобы подумать.

И Химено дал ему зацепку и обе руки в придачу, потому что, зная в глубине души, что лицензиату вечно недостает и слов и воображения, он высказал все одним махом:

— Это дело может оказаться кладом, если в компанию войдет человек, способный своей идеей воспламенить сердца людей.

— Беларде! — крикнул Попечитель, как будто это было его открытием.

— Замечательно, лицензиат. Человек, который витает в облаках и не старается спуститься на землю,— именно тот, кому люди доверят свои пожертвования.

— Беларде, который пишет стихи, Химено, и оплакивает одиночество тех, у кого нет парка, и дружит с самими детьми...

— Вы великолепны, лицензиат.

— И таким образом каждый будет готов помочь «Обществу трех» своей *лаптой*.

— Лептой, лицензиат,— робко поправил секретарь, склонив голову.

— Ладно, пусть так. И кроме того, комитет дам — сборщиц пожертвований.

— Чудесно...

И тут, Марио, клянусь тебе, лицензиат уже не мог сдерживаться и даже вскочил на ноги.

— А потом, Химено, мы, конечно, построим парк поменьше, да?

— Ни поменьше, ни побольше, сеньор лицензиат! — огорошил секретарь ошеломленного президента.

— Как, никакого парка после такой шумихи? Тебе так много нужно, Химено?

— Время проходит, лицензиат, и люди понемногу забывают, о чем они думали и о чем мечтали.

— Ах, Химено! — взволнованно ответил Попечитель. — Что бы я делал без такого секретаря, как ты!

— Это еще не все, осталось самое главное, сеньор, слушайте внимательно: на этот раз сам Бенхамин Беларде войдет в казначейскую группу.

— Вот-вот, великолепно!

— Потому что никто, дорогой мой лицензиат, не усомнится в честности человека, который терпит, чтобы его обед оставался в облаках.

— Никто, никто, Химено, даже я сам!

*Поэт, который привык в одиночестве оплакивать свои беды*

Если бы я нашел тебя в тот вечер,— я надеялся все же на твою скромность относительно того, что мог услышать архивариус,— я тебе все рассказал бы, Марио, но в тот вечер ты почувствовал потребность уйти из деревни, чтобы оплакать крушение еще одной мечты, и ты взобрался в свой любимый уголок, туда, на вершину горы, где детьми мы столько раз прятались вместе от назойливых учителей четвертого класса. Я узнал, что ты поднялся туда, от Фиденсио, который вечно бродит с коровами. Он прошел мимо и сказал мне, что со временем вершину горы назовут вершиной Беларде, и удалился, улыбаясь и подгоняя своих четвероногих. Я не смог увидеть тебя в ту ночь, и это было хуже всего, потому что на следующий день Химено встретил рассвет у твоих дверей и произнес с самой лучшей своей секретарской интонацией речь, которую он специально составил, чтобы прийти прямо к цели и глубоко проникнуть в твою душу поэта:

— Только поэт, такой поэт, как вы, Беларде, способен проникнуть в сердце ребенка. Я открыл глаза Попечителю и увидел в них слезы,— да, слезы, которые затем сменились преклонением перед вами и неудержимым желанием тотчас же превратить в действительность великий парк Марио Бенхамина Беларде для детей бедняков этой деревни,

Теперь, Марио, когда столько времени прошло с того дня и когда я простил тебе, что ты не хотел меня слушать, или, вернее, если поразмыслить хорошенько, что ты не мог меня услышать,— ибо у поэтов тоже есть ахиллесова пята, их тщеславие,— теперь, Марио, я говорю: несчастье твое было в том, что ты входил в казначейскую группу, хотя, впрочем, следует тебе сказать, что и без этого, Марио, ты принимал все очень близко к сердцу, может быть, даже слишком близко.

### *Падение по вертикали*

Остального никто не знает так хорошо, как я. Ты душой и сердцем отдался тому, чтобы воодушевить добрых людей, и через твои руки прошли их скудные и честные деньги, и хуже всего то, что прошли и не задержались, потому что в твоих руках они до сих пор весили бы столько, сколько должны были весить. Ну ладно, Марио Бенхамин Беларде, зачем нам входить в подробности? Мне немного осталось сказать. Сбылись слова Химено: «Время проходит, и люди забывают». Но дети — нет, не правда ли, Марио? Ты мог переносить косвенные намеки на то, что руки твои запяты деньги, хотя ты носил все ту же выгоревшую рубашку, что и всегда. Ты мог перенести этот крик, который однажды пронесся над парком для взрослых: «Вор!» Вор, укравший усилия людей и оказавшее ему доверие. Даже это ты мог вынести и вынес, но когда дети спрашивали тебя о твоём парке, ты умирал, Марио, больше от горя, чем от стыда, и шел в «Общество трех» требовать ответа, когда же начнется строительство в указанном квартале. Но на пустыре продолжали буйно размножаться сорняки и росла свалка отбросов, которую устроили

там местные жители. Тогда ты не выдержал и однажды, снова вечером, твоим последним вечером, поднялся на вершину горы, у подножия которой наша деревня лежит, точно пригоршня самоцветов на ладони.

### *Марио спустился с горы*

Мы, почти все, кто любил тебя, спускались вместе с тобой оттуда, сверху. Впереди Мария Селестина, на этот раз без своих бус. Рядом с ней девушка, у которой уже пробивалась седина в волосах, но которая наперекор ветру встретила с тобой в ту ночь в парке. Потом Факундо, твердивший глупости, подогнал свою маленькую ослицу; за ним Фиденсио: его мозолистые руки крестьянина точно срослись с жердями носилок, а я, поддерживая носилки сзади, не спускал взгляда с твоей головы, Марио, с твоей великой головы, покоившейся на уровне моих колен, когда мы несли тебя вниз мертвого, с настоящей пулей в груди. Это ничего, Марио, дружище, что ты принимал все, может быть, слишком близко к сердцу, но если уж ты не мог больше выдержать, почему ты не сделал это, как в детстве, из твоего маленького игрушечного ружья, что стреляло пробкой на тонкой бечевке?





### КОЛЕСО СЧАСТЬЯ

Жизнь, непохожая на кино,  
радио или театр,— это не жизнь.

**С** кино у меня особые счёты. Да, да! Не могу смотреть фильмы спокойно: все во мне переворачивается, а в голове такой сумбур, что сам черт ногу сломит. Судите сами. Когда я смотрю фильм об Америке — я бравый ковбой; когда о любви — герой-любовник. Я даже бываю маленьким мальчиком, который спасает жизнь своей матери или отца. Но стоит мне выйти из кино, и я снова становлюсь самим собой. Вот, к примеру, смотрел я как-то на днях фильм

об одном бедном парне, таком же, как я. Он умирал с голоду, но так, как умирают только в кино. Посмотрели бы вы на его квартиру! Диванчик чистенький, удобный, а гарнитур мебели такой, что у нас здесь, в Баласкайне, он обошелся бы вам в две-три сотенки. Может, он действительно был беден, но я-то прекрасно знал цену таким словам, как: «Жизнь принадлежит тем, кто за нее борется», «Моя вера поддерживает меня и возвышает» — и прочие слова, которые хоть кого вдохновят. Не правда ли? Так вот этот умирающий работал на большой фабрике. Трудно сказать, что там производили. Во всяком случае, там была большая труба, которая дымила и оглушительно редела, и сновало множество людей в одинаковых шапочках. Все они проходили с одинаковыми металлическими чемоданчиками, внутри которых находился бутерброд с сосиской, а снаружи наклейка — «счастливчик».

И вот в такой-то обстановке наш бедняк умудрялся быть чистюлей, без единого пятнышка на костюме. Это совсем выводило меня из себя. Чего я только не делаю, чтобы не запачкаться! Но разве это возможно при такой дьявольской работе, как у меня? Я продаю гипсовые куклы, которые делает мой тесть. Вернее, я их продавал, потому что вы увидите, до чего довели меня тесть, фильмы и гипсовые куклы. Но вернемся к герою фильма. Благодаря своей красоте и случаю, который чуть было не погубил его, он подружился с девицей, разъезжающей в автомобиле.

И пошли тут встречи, разговоры, совместные завтраки с неизменными сосисками, и дело кончилось тем, что они полюбили друг друга. Приятно было видеть, как вздыхала девушка, услышав фабричный

гудок. И лишь только этот гудок возвещал конец работы, она мчалась вниз по лестнице, чтобы там, у фабрики, встретиться со своим возлюбленным. Несомненно, она прекрасно понимала, что к чему, и не мозолила глаза голодающему своими мехами и драгоценностями. Нет, она не надевала их, когда шла к нему на свидание, и поэтому любовь их была прекрасной и взаимной.

Но не хочу утомлять вас, пора удовлетворить ваше любопытство. Оказалось, что отец девушки был хозяином фабрики, чего наш парень даже не подозревал. Представляете себе, как он расстроился, когда узнал об этом! Он тут же сказал девушке: «Мы должны расстаться, твой отец богат, и я не должен любить тебя». Сказал... и только его и видели. По правде говоря, мне стало жаль девушку и досада взяла на этого парня. Ведь деньги сами шли к нему в руки!

Не думайте, что я осуждаю его. Возможно, он и прав. Я даже проникся симпатией и уважением к человеку, который в трудных условиях остается бескорыстным. Ведь у человека, способного совершить такой поступок, и мысли должны быть чистыми. Не правда ли?

Так вот... Парень пришел в ярость из-за того, что миллионерша осмелилась полюбить его, бедняка. О женитьбе не могло быть и речи, и ни бог, ни дьявол не могли бы тут ничего сделать. Ну, девушка, конечно, так страдала, что смотреть было жалко. Такая молодая, симпатичная, без всяких забот, с сорока парами туфель, и отнюдь не дырявых, страдает по вине какого-то умирающего с голоду! Но ведь отец есть отец. Не правда ли? И вот старик, узнав обо всем этом, начинает уговаривать юношу, но тот уперся и по-прежнему стоит на своем. Он хочет всего до-

биться сам, ему не нужны подачки старика, иначе он будет чувствовать себя низким и продажным, а он предпочитает умереть с голоду.

Конец этого эпизода окончательно потряс меня. Старик приходит к дочери, чтобы рассказать о своей неудаче. Он входит в ее комнату, она встает ему навстречу. Вы видите ее крупным планом на экране: глаза сверкают, дыхание прерывисто. Меняется кадр, на экране снова старик, он печально качает головой и произносит «нет».

Вы знаете, надо иметь крепкие нервы, чтобы, глядя на подобные вещи, оставаться равнодушным. Меня лично спасает только жевательная резинка, которую я приношу с собой в кино. Это единственное, что помогает мне скрывать свои чувства. Вот так обстояли дела. Одним словом, могу сказать вам: жизнь — великая глупость, а деньги только портят ее, есть они или нет — все равно плохо. Но постойте. Вскоре обнаруживается одна существенная деталь. Нашего парня осенило, и он начал что-то изобретать. И хотя он был очень беден, квартира у него была большая, окнами на улицу, в самом центре людского движения и торговли. Вздумай он сдавать ее, он давно и навсегда распростился бы с нищетой. Но не тут-то было. Очевидно, он даже не помышлял об этом. А впрочем, может быть, нельзя изобретать, не имея такой роскошной квартиры? Во всяком случае, пока бедняк не начал изобретать, он умирал с голоду, не так ли? Нужно было видеть, как глубокой ночью он испещрял цифрами целые груды бумаги и, едва сдерживая слезы, изредка бросал взгляд на стену, где висел ее портрет. Но ничего. Фильм продолжался, а в кино умного человека не заставят проливать слезы

впустую. И вот на фабрике возникли какие-то затруднения, связанные с железом, и это полностью парализовало работу. Перестало вращаться огромное фабричное колесо, и рабочие смотрели на него, печально качая головой. Наконец появился страшно взволнованный старик и заявил, что остановка производства означает для него полный крах. Таково было положение. Но тут за дело взялся наш парень, который заявил: «Спокойствие, я что-нибудь изобрету». И он начал работать, знай себе считает, рассчитывает. Без сомнения, это наиболее волнующее место. Как звучала музыка! Как отбивали часы свое «тик-так». Шло время, лоб юноши потел, он испытывал муки голода, жажды, бессонницы, но не терял ни одной минуты. И вот наконец, обезумевший от усталости, он обернулся, ища стакан воды. И вдруг — бац! Она тут как тут и предлагает ему холодный лимонад. Признаться, он на минуточку удивился, и я тоже. Откуда она взялась? Неужели ей, отвергнутой, не было стыдно явиться прямо в эту кузницу творчества в минуты великого открытия? Тем не менее он улыбнулся ей и продолжал свою работу. Может быть, это был только сон? И вот наконец готова деталь, расчет которой, по всей вероятности, и заключался в каракулях молодого человека. Ее вставляют в огромное колесо, и оно снова стало вращаться, к великой радости старика, который таким образом избежал краха. Вообразите себе всеобщее ликование, поцелуи, объятия. Вот рабочий в форменной шапочке: он смеется, глядя на великое колесо, и целует ребенка, которого протягивает ему жена. А как торжествовал наш парень! Сколько радости ждало его! Даже я прихожу в волнение, вспоминая это.

Ну вот и наступила счастливая развязка. Появляется молодой человек, одетый с иголочки. С одной стороны — девушка, с другой — старик. Старик показывает чек на полмиллиона! Он предназначен для юноши, который, благодаря уму, настойчивости, а также лимонаду, добился своего и получил руку девушки. Надо сказать, что и она сумела добиться своего. Ну и фильм! Что может быть лучше? Разве не так? Если бы еще можно было остаться там, на этом празднике, и повеселиться вволю! Если бы можно было проникнуть сквозь экран! Кто знает? Может быть, я попал бы прямехонько к этим людям. Вот было бы здорово!

Но в том-то и беда, что все кончается, и вы вынуждены выйти из кино и тут же столкнуться с хромым билетером. Кровопийца! Он хоть кого заставит купить билет. А дальше — тысячи неприятностей поджидают вас на улице.

Но вспомните, что я говорил раньше. Я очень долго не забываю виденных фильмов. С той самой ночи во мне как будто что-то перевернулось. Из-за этого-то мне и придется держать сейчас ответ перед лейтенантом полиции. Перед тем самым лейтенантом, который до сих пор должен мне за гипсового индейца. Но к делу. Как я уже говорил, у меня есть невеста, зовут ее Лила. И бывает же так в жизни! Глазами она напоминает героиню того фильма. Фигурой — нет. Ведь Лила бедная девушка, да к тому же перенесла операцию в Калисто Гарсиа. Но глаза похожи. До сих пор мы скрываем от ее отца нашу любовь, потому что, по словам Лилы, я немедленно потеряю свою работу. Вот мы и стараемся видаться так, чтобы не попадаться старику на глаза. Иногда нам случается выйти погулять и поглазеть на вит-

рины. Только все бывает испорчено, потому что Лиля говорит: «Смотри, вот что мы должны купить к нашей свадьбе». Но это ничего. Все размолвки между нами быстро кончаются. А иногда мне удается только видеть ее или слышать, как распевает она на кухне, и я уже счастлив. Так мы и тянем нашу лямку. Не знаю, господа, какой бес вселился в меня с того проклятого дня, когда я в последний раз вышел из кино. Но я твердо решил ходить в чистом костюме, хотя бы в воскресные дни, и я сказал старику, что в эти дни не буду продавать кукол. Ясно, он не пришел в восторг. Но так как он платил мне десятую часть с выручки и у меня не было твердой оплаты, ему пришлось согласиться. Только потом все сорвалось, потому что на рождество он сделал столько дедов-морозов, что их хватило бы до скончания века. А самое печальное, что эти бородатые старикашки пали на мою бедную голову. Из-за них-то и началась драка. Он потребовал, чтобы я работал по воскресеньям, — я отказался, и мы повздорили. Не знаю, может быть, он догадался о моих отношениях с Лилей, но раньше никогда не случалось, чтобы он так кричал на меня или грозил кулаками. Само собой разумеется, я не стал отвечать человеку, который годится мне в отцы, да к тому же плохо видит. Но, увы! Бывает так, что в одну минуту случается больше, чем за целый год. Так и здесь. «Оставь девчонку, пройдоха! Ты родился в грязи!» — закричал старик и швырнул двух только что выкрашенных дедов-морозов прямо в меня, на мою чистую рубашку.

Не хотелось бы вспоминать это. Теперь-то мне ясно, сколько разнообразных чувств бушевало во мне тогда. Я так боялся испачкаться и так хотел достичь чего-нибудь. А тут еще эта мысль, что старик догады-

вается о чем-то между мной и Лилой. Не знаю. Только кровь ударила мне в голову, и я бросился на старика.

Сейчас я вижу, как он входит в дом. Голова его забинтована, за ним следует полицейский. Бедняга. Мне жаль его.

Я снова смотрю на улицу — и что же! О, черт побери! Там, напротив, демонстрируется фильм «Колесо счастья».

Интересно, какую часть фильма мы увидим сейчас: ту, где старик отправляется искать юношу, или ту, где он дает ему полмиллиона?





ВЛАСТОЛЮБИВАЯ  
СОВА

*Всем детям Кубы*

**М**ного, много лет тому назад послал дедушка бог к нам на землю почти все самое лучшее, что только мог выдумать. И все тогда на Кубе было новеньким-преновеньким. Сиерра Маэстра была еще совсем тепленькая, по Валье де Виньялес зажурчали первые ручейки, а побережье Плайа де Варадеро огласилось музыкой волн.

Да, все здесь было новеньким-преновеньким: и агути, и морские черепахи, и голосистые птицы синсонте — все, даже облака и пальмы. Не хватало только самого главного — солнца. А кому нужен красивый дом, если в нем никогда не зажигают света?

Кругом тьма крошечная — шагу нельзя ступить, чтобы не споткнуться, а уж о том, чтобы какой-нибудь

птичке взлететь в воздух, и говорить не приходилось. Так и жили. Каждый занимался своим делом. Но в один прекрасный день или, вернее, ночь, потому что дня там не бывало, носатая Сова, которая всегда держалась особняком, обратилась к зверям:

— Братцы агути, и сестрицы собаки и синсонте, и все, кто живет в лесу... У меня есть средство, которое поможет вам видеть.

Можете себе представить, какое волнение охватило зверей при этих словах!

— У тетушки Совы есть средство, которое поможет нам летать! — повторяли друг за другом попугайчики в красных жилетках и зелененьких костюмчиках.

— У тетушки Совы есть средство, которое поможет нам бегать! — радостно лаяли собаки.

— Бегать быстро! — подхватили лошади звонким ржанием.

— У тетушки Совы есть средство, которое поможет нам прыгать! — весело квакали лягушки.

И все звери как один поспешили к Сове. В темноте брели они по дорогам, натываясь друг на друга и сердясь оттого, что не могут различить тех, кто идет с ними рядом.

Когда звери собрались, Сова сказала:

— У меня есть средство, которое поможет вам видеть в темноте.

— Скажи нам, что это за средство, и мы тут же примем его!

— Но это не лекарство.

— Может быть, это какой-нибудь обет, скажи нам, и мы исполним его.

— Но это не обет.

— Так скажи нам, скажи, что это за средство, сеньора Сова!

Сова молчала. Она не торопясь оглядела зверей и указала на робкую голубку.

— Подойди ко мне, Голубка, ты будешь первой.

И та, словно замороженная, медленно приблизилась к Сове и склонилась перед ней.

— Приложи к своим глазам эти лепестки и скажи, что ты видишь.

— Боже, как прекрасна Куба! — воскликнула Голубка в восторге. — Ах, какие пальмы, какое небо и какие белые пушистые облака! — И, не раздумывая, она рванулась ввысь. Остальные звери не видели, как она летает, — они только слышали шелест ее крыльев, а Сова, у которой были свои лепестки, начала вести репортаж, словно радиокomentатор:

— Вот Голубка пролетает мимо... Она поднимается выше!.. Летит быстрее!.. Невероятно!.. Невообразимо!.. И все благодаря двум дешевым лепесткам... Вот она приближается, эта королева воздуха!.. Голубка перед вами, сеньоры!

И голубка опустилась на землю в таком волнении, что не могла вымолвить и двух слов, которые жаждали услышать от нее звери. Тогда Сова, которая не переставала думать о себе, сказала:

— А вы... Разве вы не хотите видеть?

— Хотим, хотим! — дружно закричали все.

— Ну что ж, — сказала Сова. — Признайте меня своей королевой, и каждый станет обладателем таких лепестков.

Звери хотели было переглянуться, но кругом было темно, и никто из них не увидел и не смог прочесть в глазах Совы, что значит быть королевой.

— Быть королевой — это когда тебя кормят; быть королевой — это когда на тебя работают: червяки и те достают для тебя земляные орехи. Быть королевой —

это когда лошадь везет тебя на прогулку, сеньор шелкопряд одевает тебя, пчела кормит медом, а рыбы ныряют для тебя на дно морское за жемчужинами.

— Ах, как чудесно быть королевой и как это выгодно! — вздохнул Рак, поднося ко рту зажженную сигару, которую держал в своих клешнях. — Быть королевой — это значит, что все будут работать на тебя.

— Все! — властно и надменно ответила тетушка Сова и тут же добавила:

— Но, если вам не нужно это средство, скажите...

— Нужно! Нужно! — закричали все, потому что им очень хотелось видеть.

И тогда Сова, как настоящий оратор, расправила крылья и громко откашлялась:

— Кхе, кхе! Так знайте, это лепестки растения кардо санто. Становитесь в очередь, и я вручу их каждому из вас.

Ах, как радовались звери тому, что смогут видеть. Ведь нет большего счастья, чем возможность видеть! И вот звери Кубы, которая была еще совсем новенькой-преновенькой, почувствовали себя счастливыми. Но не совсем... потому что лошадь, которая могла теперь бежать не спотыкаясь, должна была возить на прогулку Сову всякий раз, как того пожелает ее величество; а бедняга шелкопряд дни и ночи напролет трудился, чтобы соткать сорок самых изысканных нарядов для королевы Совы; черви копались под землей в поисках земляных орехов, не имея ни секунды свободного времени, чтобы взглянуть на мир сквозь лепестки кардо санто. А Сова между тем жирела и окружала колючей изгородью окрестные поля.

Но что же все-таки произошло с солнцем? Почему оно не светило? Просто дедушка бог забыл повернуть его в сторону Кубы. Заметив это, святой Петр напра-

вился к дому господа бога, который как раз прилег вздремнуть после обеда.

— Дедушка бог,— позвал его святой Петр.

— Что случилось, кум?— спросил бог, открыв свои лучистые глаза и усевшись в гамаке.

— На Кубе нет света, и бедные звери от Виньялес до Маэстры собирают в потемках синяки и шишки.

— Что вы говорите, кум Петр! Почему же до сих пор не зажгли солнца?

— Без бумаги, заверенной вашей подписью, это невозможно, сеньор,— скромно отвечал святой Петр, и бог, привстав в своем гамаке, крикнул:

— Элпидио, Дамасо, Хоакин, летите скорее сюда!

Трое ангелочков в сомбреро из пальмового листа тотчас же подбежали к нему прямо по воздуху.

— Отправляйтесь-ка на солнце и направьте лучи вниз, Куба в темноте!

— Большое спасибо, сеньор,— поблагодарил святой Петр.

— Это тебе спасибо, Петр,— ответил ему бог.— Ведь нам надлежит заниматься не только небесными делами.

И вот солнце направило свои лучи туда, вниз. Какая красота!.. Невозможно передать!.. Первый расцвет на Кубе!.. Как радовались ему листья бананов и вода в озерах, каким восторгом встретило свет море и каким счастьем оно засияло! Сначала свет чуть забрезжил, слегка осветив небо. И вдруг словно хлынул водопад красок: зазеленела листва, манго окрасились в свои нежные тона, а красные с желтым марааньоны<sup>1</sup> покачивали своими колпачками. Цветок

---

<sup>1</sup> Марааньон — фруктовое дерево с плодами, по форме напоминающими грушу.

горькой эскобы раскрыл все свои беленькие звездочки, и очарованная бабочка порхала в воздухе, сверкая всеми цветами радуги.

Ах, как прекрасна Куба! А этот молочно-белый туман в долинах, такой спокойный, пахнущий хвоей, только что срезанным сахарным тростником и пчелами!

Да, Куба стала прекрасной! Но что случилось? Почему все звери видели ее сквозь какую-то пелену, словно в мутной дымке?

— Карамба, братец Светлячок, я словно полуслепая! — взволнованно проквакала лягушка.

— А я вынужден освещать фонариком каждый свой шаг, сестрица Лягушка. Что же это такое?

— Викария, викария, отвар викарии для глаз, вот что восстановит вам зрение! — кричала Сова, потому что хотела скрыть то, что происходило на самом деле. Ей было невыгодно говорить правду. А звери между тем продолжали спотыкаться и не могли рассчитать расстояние. Случилось даже, что бедный дятел поломал себе клюв, не сумев примериться как следует, перед тем как всадить его в ствол пальмы.

— Викария, викария! Все пройдет с помощью викарии! — продолжала вопить Сова, покуда Рак не подошел к ней и не сказал, передразнивая:

— Ни викария, ни ключевая вода, ваше величество; долой лепестки кардо санто!

— Что ты говоришь, жалкий глупец! Ты что, снова захотел стать слепым?

Но Рак не слушал ее. Он приподнялся и своей огромной клешней поманил Голубку, которая совсем оробела, слушая их разговор:

— Голубка, пойдн сюда.

Голубка, скромная и тихая, как всегда, медленно приблизилась:

— Сбрось лепестки со своих глаз и скажи мне, что ты видишь.

— О братец Рак, теперь я понимаю, что значит видеть! — воскликнула Голубка и, подняв головку, посмотрела на верхушку пальмы. — Оказывается, у пальмы роскошный наряд!

— А мы с тобой и не знали? Я тоже только сегодня это заметил.

— Викария, викария! — хотела было вмешаться Сова, но братец Рак прервал ее:

— Вот что, тетка Сова, пора нам смотреть на мир своими глазами, а не сквозь желтые лепестки с глаз.

Сова расовирепела и выпустила острые когти, которыми привыкла убивать птичек.

— Я королева и никогда, никогда не позволю вам снять со своих глаз лепестки! Викария, викария, викария!

Но никто не обращал на нее внимания ни в горах, ни на равнинах. Потому что одно дело смотреть на мир сквозь лепестки, которые вам навязали, а другое — глазами, которые вам дал бог.

С этих пор все звери стали свободными и счастливыми. Лошади теперь бегали сколько их душе угодно; Шелкопряд соткал себе шапочку, беленькую с голубым; Червяк бросил на землю последний земляной орех, который с трудом тащил на плечах, и только Сова, неуклюжая бедняга, тетка Сова, обреченная жить в темноте, одиноко вопила:

— Викария, викария!

А все потому, что властолюбивая сова не желала сбросить позолоченные лепестки со своих глаз.





## СОДЕРЖАНИЕ

<i>О. Савич. Кубинское сердце . . . . .</i>	5
---	---

### КОРАЛЛОВЫЙ КОНЬ

<i>Рассказчик. Перевод М. Абезгауз . . . . .</i>	11
<i>Моя сестра Висия. Перевод Р. Окунь . . . . .</i>	23
<i>У горной дороги. Перевод Р. Бурковой . . . . .</i>	29
<i>Нино. Перевод Э. Вольф . . . . .</i>	35
<i>Сердце кубинца. Перевод В. Крыловой . . . . .</i>	40
<i>Много дней спустя. Перевод Н. Горской . . . . .</i>	52
<i>Эстела. Перевод В. Крыловой . . . . .</i>	63
<i>Ловец омаров. Перевод С. Шмидт . . . . .</i>	70
<i>Леонела. Перевод Э. Вольф . . . . .</i>	79
<i>Угольщики. Перевод М. Филипповой . . . . .</i>	88
<i>Старое железо. Перевод Р. Окунь . . . . .</i>	103
<i>Возвращение. Перевод Р. Окунь . . . . .</i>	111
<i>Коралловый конь. Перевод В. Горкина . . . . .</i>	117
<i>Четыре дня из жизни Марио Бенхамина. Перевод Г. Мироновой . . . . .</i>	131
<i>Колесо счастья. Перевод Н. Болотнер . . . . .</i>	143
<i>Властолюбивая сова. Перевод В. Горкина . . . . .</i>	151

*ОНЕЛИО КАРДОСО*  
КОРАЛЛОВЫЙ КОНЬ

Редактор *С. Вафа*  
Художественный редактор  
*Д. Ермоленко*  
Технический редактор  
*Г. Каунина*  
Корректор *Г. Суриц*

Сдано в набор 26/IX 1961 г.  
Подписано в печать 5/VII 1962 г.  
А02002. Бум. 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>  
5 печ. л.=6,85 усл. печ. л. 6,15 уч.-  
изд. л. Тираж 100.000. Цена 23 к.  
Заказ № 2233.

Гослитиздат  
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Первая Образцовая типография  
имени А. А. Жданова  
Московского городского Совнархоза.  
Москва, Ж-54, Валовая, 28.



23 коп.